

Л. Троцкий ВОКРУГ ОКТЯБРЯ

I. ПЕРЕД ОКТЯБРЕМ

О том, что Ленин прибыл в Петербург и выступал на рабочих собраниях против войны и Временного правительства, я узнал из американских газет в Амхерсте, в канадском концентрационном лагере. Интернированные немецкие матросы сразу заинтересовались Лениным, имя которого они впервые встретили в газетных телеграммах. Все это были люди, жадно ждавшие конца войны, который должен был открыть для них ворота концентрационной тюрьмы. Они с величайшим вниманием относились к каждому голосу против войны. До сих пор они знали Либкнехта. Но им часто говорили, что Либкнехт подкуплен. Теперь они узнали Ленина. Я рассказывал им о Циммервальде и Кинтале. Выступления Ленина привели многих из них к Либкнехту.

В Финляндии проездом я нашел первые свежие русские газеты и в них телеграммы о вступлении Церетели, Скобелева и других "социалистов" в состав Временного правительства. Обстановка была, таким образом, совершенно ясна. С Апрельскими тезисами Ленина я познакомился на второй или третий день по приезде в Петербург. Это было именно то, что нужно было революции. Только позже я прочитал в "Правде" статью Ленина, присланную еще из Швейцарии: "Первый этап первой революции". И сейчас еще можно и должно с величайшим интересом и с политической пользой прочитать первые, весьма расплывчатые номера пореволюционной "Правды", на фоне которых ленинское "Письмо из далека" выступает во всей своей сосредоточенной силе. Очень спокойная, теоретико-разъяснительная по тону статья эта похожа на свернутую в тугое кольцо огромную стальную спираль, которой в дальнейшем предстояло развертываться и расширяться, идейно покрывая собою все содержание революции.

С товарищем Каменевым я условился о посещении редакции "Правды" в один из ближайших по приезде дней.

Первое свидание состоялось, должно быть, 5--6 мая. Я сказал Ленину, что меня ничто не отделяет от Апрельских тезисов и от всего курса, взятого партией после его приезда и что предо мной стоит альтернатива: либо сейчас же "индивидуально" вступить в партийную организацию, либо попытаться привести лучшую часть объединенцев, в организации которых числилось до 3 тысяч рабочих в Петербурге и с которыми связано было много ценных революционных сил: Урицкий, Луначарский, Иоффе, Владимиров, Мануильский, Карахан, Юрнев, Позерн, Литкенс и другие. Антонов-Овсеенко уже вступил к тому времени в партию; кажется, и Сокольников. Ленин категорически не высказывался ни в ту, ни в другую сторону. Прежде всего нужно было конкретнее ориентироваться в обстановке и в людях. Ленин считал не исключенной ту или другую кооперацию с Мартовым, вообще с частью меньшевиков-интернационалистов, только что прибывших из-за границы. Наряду с этим нужно было посмотреть, как сложатся взаимоотношения внутри "интернационалистов" на работе. В силу молчаливого соглашения я с своей стороны не форсировал естественного развития событий. Политика была общая. На рабочих и солдатских собраниях я с первого дня приезда говорил: "Мы, большевики и интернационалисты", а так как союз "и" только затруднял речь при частом произнесении этих слов, то я вскоре сократил формулу и стал говорить: "Мы, большевики-интернационалисты". Таким образом, политическое слияние предшествовало организационному [Н. Н. Суханов в своей истории революции строит особую свою линию в отличие от линии Ленина. Но Суханов заведомый "конструктивист".-- Прим. авт.].

В редакцию "Правды" я заходил до июльских дней раза два-три, в наиболее критические моменты. В те первые свидания, а еще более после июльских дней Ленин производил впечатление высшей сосредоточенности, страшной внутренней собранности -- под покровом спокойствия и "прозаической" простоты. Керенщина казалась в те дни всемогущей. Большевизм представлялся "ничтожной кучкой". Партия сама еще не сознавала своей завтрашней силы. И в то же время Ленин уверенно вел ее к величайшим задачам...

Его выступления на I съезде Советов вызвали у эсероменьшевицкого большинства тревожное недоумение. Они смутно чувствовали, что этот человек взял прицел по какой-то очень далекой точке. Но самой точки они не видели. И революционные мещане спрашивали себя: кто это? что это? простой маньяк? или какой-то исторический снаряд небывалой разрывной силы?

Выступление Ленина на съезде Советов, когда он говорил о необходимости арестовать 50 капиталистов, не было, пожалуй, ораторски "удачным". Но оно было исключительно значительным. Короткие аплодисменты немногочисленных сравнительно большевиков провожали оратора, уходившего с видом человека, который не все сказал и, может быть, не совсем так сказал, как хотел бы... И в то же время над залом пронеслось необычное дуновение. Это было дуновение будущего, которое на момент почувствовали все, провожая растерянными взорами этого человека, такого обыкновенного и такого загадочного.

Кто он? что он? Разве Плеханов не назвал в своей газете первую ленинскую речь на революционной почве Петербурга бредом? Разве делегаты, выбиравшиеся массами, не примыкали сплошь к эсерам и меньшевикам? Разве в среде самих большевиков позиция Ленина не вызвала на первых порах острое недовольство?

С одной стороны, Ленин требовал категорического разрыва не только с буржуазным либерализмом, но и со всеми видами оборончества. Он организовал борьбу внутри собственной партии против тех "старых большевиков", которые, как писал Ленин, "не раз уже играли печальную роль в истории нашей партии, повторяя бессмысленно *заученную* формулу вместо *изучения* своеобразия новой, живой действительности". Таким образом, он на поверхностный взгляд ослаблял собственную партию. А в то же время он заявил на съезде Советов: "Не правда, будто ни одна партия не согласна ныне взять власть; такая партия есть: это наша партия". Разве не чудовищное противоречие между положением "кружка пропагандистов", который отмежевывается от всех остальных, и между этой открытой претензией на взятие власти в гигантской стране, потрясенной до дна? И съезд Советов глубочайшим образом не понимал, чего хочет и на что надеется этот странный человек, этот холодный фантаст, пишущий маленькие статьи в маленькой газете. И когда Ленин с великолепной простотой, которая показалась простоватостью подлинным простецам, заявил на съезде Советов: "Наша партия... готова взять власть целиком", -- раздался смех. "Вы можете смеяться, сколько угодно..." -- сказал Ленин. Он знал: "хорошо посмеется тот, кто смеется последним". Ленин любил эту французскую поговорку, ибо твердо готовился смеяться последним. И он спокойно продолжал доказывать, что нужно для начала арестовать 50 или 100 крупнейших миллионеров и объявить народу, что мы считаем всех капиталистов разбойниками и что Терещенко ничуть не лучше Милюкова, только поглупее. Ужасно, поразительно, убийственно простецкие мысли! И этот представитель маленькой части съезда, которая время от времени сдержанно аплодирует ему, говорит съезду: "Вы боитесь власти? А мы готовы ее взять". В ответ, разумеется, смех, в тот момент почти снисходительный, только чуть-чуть тревожный.

И для второй своей речи Ленин выбирает ужасно простые слова из письма какого-то крестьянина о том, что нужно больше напирать на буржуазию, чтобы она лопалась по всем швам, тогда война кончится, но если не так сильно будем напирать на буржуазию, то скверно будет. И эта простая, наивная цитата -- вся программа? Как же не недоумевать? Опять смешок, снисходительный и тревожный. И действительно, в качестве отвлеченно взятой программы группы пропагандистов эти слова: "напирать на буржуазию" -- не так уж много весят. Недоумевающие не понимали, однако, того, что Ленин безошибочно подслушал нарастающий напор истории на буржуазию и что в результате этого напора ей неизбежно придется "лопаться по всем швам". Недаром же Ленин разъяснял в мае гражданину Маклакову, что "страна" рабочих и беднейших крестьян... раз в 1000 левее Черновых и Церетели, раз в 100 левее нас". Тут-то и есть главный источник ленинской тактики. Сквозь свежую, но уже достаточно мутную демократическую пленку он глубоко прощупал "страну рабочих и беднейших крестьян". Она оказалась готовой совершить величайшую революцию. Но эту свою готовность она пока еще не умеет политически проявить. Те партии, которые говорят от имени рабочих и крестьян, обманывают их. Нашей партии миллионы рабочих и крестьян еще не знают, не нашли ее еще как выразительницу своих стремлений, и в то же время сама наша партия еще не поняла всей своей потенциальной силы, и потому она "в 100 раз" правее рабочих и крестьян. Надо пригнать одно к одному. Надо открыть миллионные массы партии и партию миллионным массам. Не забегать чересчур вперед, но и не отставать. Терпеливо и настойчиво разъяснять. Разъяснять же нужно очень простые вещи: "Долой 10 министров-капиталистов!" Меншевики не согласны? Долой меньшевиков! Они смеются? До поры до времени... Хорошо посмеется тот, кто будет смеяться последним.

Помнится, мною было выдвинуто предложение потребовать на съезде Советов постановки в первую очередь вопроса о готовящемся наступлении на фронте. Ленин одобрил эту мысль, но хотел, очевидно, еще обсудить ее с другими членами ЦК. К первому заседанию съезда товарищ Каменев принес наспех набросанный Лениным проект заявления большевиков по поводу наступления. Не знаю, сохранился ли этот документ. Текст его показался, не помню уж, по каким причинам, неподходящим для съезда как присутствовавшим тут большевикам, так и интернационалистам. Возражал против текста и Позерн, которому мы хотели поручить выступление. Я набросал другой текст, который и был оглашен. Организация выступления была, если не ошибаюсь, в руках Свердлова, с которым я впервые встретился именно во время I съезда Советов как с председателем большевистской фракции.

Несмотря на небольшой рост и худощавость, вызывавшую представление о болезненности, от фигуры Свердлова исходило впечатление значительности и спокойной силы. Он председательствовал ровно, без шума и перебоев, как работает хороший мотор. Секрет тут был, конечно, не в самом искусстве председательствования, а в том, что он превосходно представлял себе личный состав собрания и хорошо знал, чего хочет достигнуть. Каждому заседанию предшествовали встречи его с отдельными делегатами, расспросы, иногда увещания. Уже до открытия заседания он в общем и целом представлял себе, какими путями оно развернется. Но и без предварительных переговоров он лучше, чем кто бы то ни было, знал, как именно тот или другой работник отнесется к поднятому вопросу. Число товарищей, политический облик которых он себе ясно представлял, было по масштабам тогдашней нашей партии очень велико. Это был прирожденный организатор и комбинатор. Каждый политический вопрос предстал перед ним прежде всего в своей организационной конкретности, как вопрос взаимоотношений отдельных лиц и группировок внутри партийной организации и взаимоотношения между организацией в целом и массами. В алгебраические формулы он немедленно и почти

автоматически подставлял числовые значения. Этим самым он давал важнейшую проверку политических формул, поскольку дело шло о революционном действии.

После отмены демонстрации 10 июня, когда атмосфера I съезда Советов накалилась до чрезвычайности и Церетели грозил разоружить петербургских рабочих, я с товарищем Каменевым отправился в редакцию и там, после короткого обмена мнениями, я написал по предложению Ленина проект обращения от ЦК к Исполнительному Комитету.

На этом свидании Ленин сказал несколько слов о Церетели по поводу последней его речи (11 июня): "Был ведь революционером, сколько лет на каторге, а теперь полный отказ от прошлого". В этих словах не было ничего политического, они и сказаны были не для политики, а явились плодом мимолетного раздумья над жалкой судьбой бывшего крупного революционера. В тоне был оттенок сожаления, обиды, но выраженный кратко и сухо, ибо ничто так не претило Ленину, как малейший намек на сентиментальность и психологическое рассусоливание.

4 или 5 июля я виделся с Лениным (и с Зиновьевым?), кажется, в Таврическом дворце. Наступление было отбито. Злоба против большевиков достигла у правящих последнего предела. "Теперь они нас перестреляют,-- говорил Ленин.-- Самый для них подходящий момент". Основной мыслью его было: дать отбой и уйти, поскольку окажется необходимым, в подполье. Это был один из крутых поворотов ленинской стратегии, основанный, как всегда, на быстрой оценке обстановки. Позже, в эпоху III конгресса Коминтерна, Владимир Ильич говорил как-то: "В июле мы наделали немало глупостей". Он имел при этом в виду преждевременность военного выступления, слишком агрессивные формы демонстрации, не отвечавшие нашим силам в масштабе страны. Тем более знаменательна та трезвая решительность, с какой он 4--5 июля продумал обстановку не только за революцию, но и за противную сторону и пришел к выводу, что для "них" теперь в самый раз нас расстрелять. К счастью, нашим врагам не хватало еще ни такой последовательности, ни такой решимости. Они ограничились переверзевской химической подготовкой. Хотя весьма вероятно, что, если бы им удалось в первые дни после июльского выступления захватить Ленина, они, то есть их офицерство, поступили бы с ним так же, как менее чем через два года немецкое офицерство поступило с Либкнехтом и Розой Люксембург.

Прямого решения скрыться или уйти в подполье на только что упомянутом свидании принято не было. Корниловщина раскачивалась постепенно. Я лично еще в течение двух-трех дней оставался на виду. Выступал на нескольких партийных и организационных совещаниях на тему: что делать? Бешеный напор на большевиков казался непреодолимым. Меньшевики пытались всеми мерами использовать обстановку, созданную не без их участия. Мне пришлось говорить, помнится, в библиотеке Таврического дворца, на каком-то собрании представителей профессиональных союзов. Присутствовало всего несколько десятков человек, то есть самая верхушка. Меньшевики господствовали. Я доказывал необходимость профсоюзам протестовать против обвинения большевиков в связи с германским милитаризмом. Смутно представляю себе ход этого собрания, но довольно отчетливо вспоминаю две-три злорадные физиономии, поистине плюхопросящие... Террор тем временем крепчал. Шли аресты. Несколько дней я провел, укрываясь на квартире товарища Ларина. Затем стал выходить, появился в Таврическом дворце и вскоре был арестован.

Освобожден я был уже в дни корниловщины и начинавшегося большевистского приюта. За это время успело совершиться вступление объединенцев в большевистскую партию. Свердлов предложил мне повидаться с Лениным, который еще скрывался. Не помню, кто

меня водил на конспиративную рабочую квартиру (не Рахья ли?), где я встретился с Владимиром Ильичем. Там же был и Калинин, которого В. И. при мне продолжал допрашивать о настроении рабочих, будут ли драться, пойдут ли до конца, можно ли брать власть и пр.

Каково было в это время настроение Ленина? Если охарактеризовать его в двух словах, то придется сказать, что это было настроение сдержанного нетерпения и глубокой тревоги. Он видел ясно, что подходит момент, когда нужно будет все поставить ребром, и в то же время ему казалось, и не без основания, что на верхах партии не делаются отсюда все необходимые выводы. Поведение Центрального Комитета казалось ему слишком пассивным и выжидательным. Ленин не считал возможным открыто вернуться к работе, справедливо опасаясь, что арест его закрепил бы и даже усилил бы выжидательное настроение верхов партии, а это неминуемо повело бы к упущению исключительной революционной ситуации. Поэтому настороженность Ленина, его придиричивость ко всяким проявлениям кунктаторства, ко всяким намекам на выжидательность и нерешительность возросли в эти дни и недели до чрезвычайной степени. Он требовал немедленного приступа к правильному заговору: застигнуть противника врасплох и вырвать власть, а там видно будет. Об этом нужно, однако, сказать подробнее.

Биографу придется внимательнейшим образом учесть самый факт возвращения Ленина в Россию, соприкосновение его с народными массами. С небольшим перерывом в 1905 году Ленин более полутора десятка лет провел в эмиграции. Его чувство действительности, ощущение живого трудящегося человека не только не ослабело за это время, но, наоборот, укрепилось работой теоретической мысли и творческого воображения. По отдельным случайным свиданиям и наблюдениям он ловил и воссоздавал образ целого. Но все же он прожил эмигрантом тот период своей жизни, в течение которого он окончательно созрел для своей будущей исторической роли. В Петербург он приехал с готовыми революционными обобщениями, которые резюмировали весь общественно-теоретический и практический опыт его жизни. Лозунг социалистической революции он провозгласил, едва ступив на русскую почву. Но тут только началась на живом опыте пробужденных трудящихся масс России проверка накопленного, передуманного, закрепленного. Формулы выдержали проверку. Более того, только здесь, в России, в Петербурге, они наполнились повседневной неопровержимой конкретностью и тем самым непреодолимой силой. Теперь уже не приходилось по отдельным, более или менее случайным, образцам воссоздавать перспективную картину целого. Само целое заявляло о себе всеми голосами революции. И тут Ленин показал, а может быть и сам только почувствовал полностью впервые, в какой мере он умеет слышать хаотический еще голос пробуждающейся массы. С каким глубоким органическим презрением наблюдал он мышиную возню руководящих партий Февральской революции, эти волны "могущественного" общественного мнения, которые рикошетом шли от одной газеты к другой, близорукость, самовлюбленность, болтливость -- словом, официальную февральскую Россию. Под этой уставленной демократическими декорациями сценой он слышал рокот событий иного масштаба. Когда скептики указывали ему на великие затруднения, на мобилизацию буржуазного общественного мнения, на мелкобуржуазную стихию, он стискивал челюсти, скулы его угловатее выступали из-под щек. Это значило, что он сдерживается, чтоб не сказать скептикам ясно и точно, что он о них думает. Он видел и понимал препятствия никак не хуже других, но он ясно, осязательно, физически ощущал те скопленные историей гигантские силы, которые теперь рвались наружу, чтобы опрокинуть все препятствия. Он видел, слышал и ощущал прежде всего российского рабочего, возросшего численно, еще не забывшего опыт 1905 года, прошедшего через школу войны, через ее иллюзии, через фальшь и ложь оборончества и готового теперь на величайшие жертвы и невиданные усилия. Он чувствовал солдата, оглушенного тремя годами дьявольской бойни -- без

смысла и без цели, -- пробужденного грохотом революции и собиравшегося за все бессмысленные жертвы, унижения и заушения расплатиться взрывом бешеной, ничего не щадящей ненависти. Он слышал мужика, который все еще тащил на себе путы столетий крепостничества и который теперь, благодаря встряске войны, впервые почувствовал возможность расплатиться с угнетателями, рабовладельцами, господами, барами страшным, беспощадным платежом. Мужик еще беспомощно топтался, колеблясь между черновской болтологией и своим "средствием" великого аграрного мятежа. Солдат еще переминался с ноги на ногу, ища путей между патриотизмом и оголтелым дезертирством. Рабочие еще дослушивали, но уже недоверчиво и полу враждебно, последние тирады Церетели. Уже нетерпеливо клокотали пары в котлах кронштадтских военных кораблей. Соединявший в себе отточенную, как сталь, ненависть рабочего с глухим медвежьим гневом мужика, матрос, обожженный огнем страшной бойни, уже сбрасывал за борт тех, кто воплощал для него все виды сословного, бюрократического и военного угнетения. Февральская революция шла под откос. Лохмотья царской легальности подбирались коалиционными спасителями, растягивались, сшивались и превращались в тонкую пленку легальности демократической. Но под нею все клокотало и бурлило, все обиды прошлого искали выхода, ненависть к стражнику, квартальному, исправнику, табельщику, городовому, фабриканту, ростовщику, помещику, к паразиту, белоручке, ругателю и заушителю готовила величайшее в истории революционное извержение. Вот что слышал и видел Ленин, вот что он физически чувствовал, с неотразимой ясностью, с абсолютной убедительностью, прикоснувшись после долгого отсутствия к охваченной спазмами революции стране. "Вы, дурачки, хвастунишки и тупицы, думаете, что история делается в салонах, где выскочки-демократы амикошонствуют с титулованными либералами, где вчерашние замухрышки из провинциальных адвокатов учатся наскоро прикладываться к сиятельнейшим ручкам? Дурачки! Хвастунишки! Тупицы! История делается в окопах, где охваченный кошмаром военного похмелья солдат всаживает штык в живот офицеру и затем на буфере бежит в родную деревню, чтобы там поднести красного петуха к помещичьей кровле. Вам не по душе это варварство? Не прогневайтесь, -- отвечает вам история: чем богата, тем и рада. Это только выводы из всего, что предшествовало. Вы воображаете всерьез, что история делается в ваших контактных комиссиях? Вздор, лепет, фантазмагория, кретинизм. История -- да будет ведомо! -- выбрала на этот раз своей подготовительной лабораторией дворец Кшесинской, балерины, бывшей любовницы бывшего царя. И отсюда, из этого символического для старой России здания, она подготавливает ликвидацию всей нашей петербургско-царской, бюрократически-дворянской, помещичье-буржуазной гнили и похабщины. Сюда, во дворец бывшей императорской балерины, стекаются закоптелые делегаты фабрик, серые, корявые и вшивые ходоки окопов и отсюда они развозят по стране новые вещи слова".

Горе-министры революции судили и рядили, как бы вернуть дворец его законной владелице. Буржуазные, эсеровские, меньшевистские газеты скалили свои гнилые зубы по поводу того, что Ленин с балкона Кшесинской бросал лозунги социального переворота. Но эти запоздалые потуги не способны были ни повисить ненависть Ленина к старой России, ни усилить его волю к расправе над ней: и та и другая уже достигли предела. На балконе Кшесинской Ленин стоял таким же, каким он месяцами двумя позже скрывался в стогу сена и каким несколько недель спустя занял пост Председателя Совнаркома.

Ленин видел вместе с тем, что внутри самой партии имеется консервативное сопротивление -- на первых порах не столько политическое, сколько психологическое -- тому великому прыжку, который предстояло совершить. Ленин с тревогой наблюдал возрастающее несоответствие в настроениях части партийных верхов и миллионов рабочих масс. Он ни на минуту не удовлетворялся тем, что Центральный Комитет принял формулу вооруженного восстания. Он знал трудности перехода от слов к делу. Всеми

силами и средствами, какие были в его руках, он стремился поставить партию под напор масс и Центральный Комитет партии -- под напор ее низов. Он вызывал в свое убежище отдельных товарищей, собирал справки, проверял, устраивал перекрестные допросы, пускал обходными путями и наперерез свои лозунги в партию, вниз, вглубь, чтоб поставить верхи перед необходимостью действовать и дойти до конца. Чтобы отдать себе правильный отчет в поведении Ленина в этот период, нужно установить одно: он несокрушимо верил в то, что масса хочет и может совершить революцию, но у него не было этой уверенности относительно партийного штаба. А в то же время он яснее ясного понимал, что времени терять нельзя. Революционную ситуацию нельзя по произволу консервировать до того момента, когда партия подготовится, чтобы ее использовать. Мы это недавно видели на опыте Германии. Приходилось, даже недавно, слышать мнение: если бы мы не взяли власти в Октябре, мы бы ее взяли двумя-тремя месяцами позже. Грубое заблуждение! Если бы мы не взяли власть в Октябре, мы бы ее не взяли совсем. Силу нашу перед Октябрем составлял непрерывный прилив к нам массы, которая верила, что *эта* партия сделает то, чего не сделали другие. Если бы она увидела с нашей стороны в тот момент колебания, выжидательность, несоответствие между словом и делом, она отхлынула бы от нас в течение двух-трех месяцев, как перед тем отхлынула от эсеров и меньшевиков. Буржуазия получила бы передышку. Она использовала бы ее для заключения мира. Соотношение сил могло бы радикально измениться, и пролетарский переворот отодвинулся бы в неопределенную даль. Вот это именно Ленин понимал, осязал и чувствовал. Отсюда вытекали его беспокойство, тревога, недоверие и неистовый нажим, оказавшийся для революции спасительным.

Те разногласия внутри партии, которые бурно вспыхнули в дни Октября, проявились предварительно уже на нескольких этапах революции. Первая, наиболее принципиальная, но пока еще спокойно-теоретическая стычка развернулась сейчас же по приезде Ленина, в связи с его тезисами. Второе глухое столкновение произошло в связи с вооруженной демонстрацией 20 апреля. Третье -- вокруг попытки вооруженной демонстрации 10 июня: "умеренные" считали, что Ленин хотел им подкинуть вооруженную демонстрацию с перспективой восстания. Следующий конфликт, уже более острый, вспыхнул в связи с июльскими днями. Разногласия прорвались в печать. Дальнейшим этапом в развитии внутренней борьбы послужил вопрос о предпарламенте. На этот раз в партийной фракции открыто сшиблись лицом к лицу две группировки. Велся ли какой-либо протокол заседания? Сохранился ли он? -- я об этом не знаю. А прения представляли несомненно выдающийся интерес. Две тенденции: одна -- на захват власти, другая -- на роль оппозиции в Учредительном собрании -- определились с достаточной полнотой. Сторонники бойкота предпарламента остались в меньшинстве, недалеко, однако, отстоявшем от большинства. На прения во фракции и на вынесенное решение Ленин из своего убежища вскоре реагировал письмом в Центральный Комитет. Этого письма, где Ленин в более чем энергичных выражениях солидаризировался с бойкотистами "Булыгинской думы" Керенского -- Церетели, я не нахожу во II части XIV тома Сочинений. Сохранился ли этот чрезвычайно ценный документ? Высшего напряжения разногласия достигли непосредственно пред октябрьским этапом, когда речь шла об окончательном принятии курса на восстание и о назначении срока восстания. И наконец, уже после переворота 25 октября разногласия чрезвычайно обострились вокруг вопроса о коалиции с другими социалистическими партиями.

В высшей степени интересно было бы восстановить во всей конкретности роль Ленина накануне 20 апреля, 10 июня и июльских дней. "Мы в июле наделали глупостей", -- говорил Ленин позже и в частных беседах, и помнится, на совещании с немецкой делегацией по поводу мартовских событий 1921 года в Германии. В чем состояли эти "глупости"? В энергичном или слишком энергичном прощупывании, в активной или

слишком активной разведке. Без таких разведок, производимых время от времени, можно было отстать от массы. Но известно, с другой стороны, что активная разведка иногда волей-неволей переходит в генеральное сражение. Вот этого едва не случилось в июле. Отбой был все же дан еще достаточно вовремя. А у врага не хватило в те дни смелости довести дело до конца. И вовсе не случайно не хватило: керенщина есть половинчатость по самому своему существу, и эта трусливая керенщина тем более парализовала корниловщину, чем больше сама боялась ее.

II. ПЕРЕВОРОТ

К концу "демократического совещания" был, по нашему настоянию, назначен срок второго съезда Советов на 25 октября. При тех настроениях, какие нарастали с часу на час не только в рабочих кварталах, но и в казармах, нам казалось наиболее целесообразным сосредоточить внимание Петербургского гарнизона на этой именно дате, как на том дне, когда съездом Советов должен будет решаться вопрос о власти, а рабочие и войска должны будут поддержать съезд, подготовившись как следует быть заранее. Стратегия наша, по существу, была наступательной: мы шли на штурм власти, но агитация была построена на том, что враги готовятся разогнать съезд Советов и что нужно, стало быть, дать им беспощадный отпор. Весь этот план опирался на могущество революционного прилива, который стремился везде и всюду достигнуть одного и того же уровня и не давал противнику ни отдыха, ни срока. Наиболее отсталые полки в худшем для нас случае сохраняли нейтралитет. При этих условиях малейший шаг правительства, направленный против Петроградского Совета, должен был нам сразу обеспечить решающий перевес. Ленин опасался, однако, что противник успеет подтянуть небольшие, но решительно настроенные контрреволюционные войска и выступит первым, использовав оружие внезапности против нас. Захватив партию и Советы врасплох, арестовав руководящую головку в Петербурге, противник тем самым обезглавит движение, а затем постепенно и обессилит его. "Нельзя ждать, нельзя откладывать!" -- твердил Ленин.

В этих условиях произошло в конце сентября или в начале октября знаменитое ночное заседание Центрального Комитета на квартире у Сухановых. Ленин явился туда с решимостью добиться на этот раз такого постановления, которое не оставляло бы места сомнениям, колебаниям, проволочкам, пассивности и выжидательности. Еще прежде, однако, чем напасть на противников вооруженного восстания, он стал нажимать на тех, кто связывал восстание со вторым съездом Советов. Кто-то передал ему мои слова: "Мы уже назначили восстание на 25 октября". Эту фразу я действительно повторял несколько раз против тех товарищей, которые намечали путь революции через предпарламент и "внушительную" большевистскую оппозицию в Учредительном собрании. "Если большевистский в своем большинстве съезд Советов,--говорил я,-- не возьмет власти, то большевизм попросту выведет себя в расход. Тогда, по всей вероятности, не будет созвано и Учредительное собрание. Созывая после всего, что было, съезд Советов на 25 октября, с заранее обеспеченным нашим большинством, мы тем самым публично обязуемся взять власть не позже 25 октября".

Владимир Ильич стал жестоко придирается к этой дате. Вопрос о втором съезде Советов, говорил он, его совершенно не интересует: какое это имеет значение? состоится ли еще самый съезд? да и что он сможет сделать, если даже соберется? Нужно вырвать власть, не надо связываться со съездом Советов, смешно и нелепо предупреждать врага о дне восстания. В лучшем случае 25 октября может стать маскировкой, но восстание необходимо устроить заранее и независимо от съезда Советов. Партия должна захватить власть вооруженной рукой, а затем уже будем разговаривать о съезде Советов. Нужно переходить к действию немедленно!

Как и в июльские дни, когда Ленин твердо ожидал, что "они" перестреляют нас, он и теперь продумывал за врага всю обстановку и приходил к выводу, что самым правильным, с точки зрения буржуазии, было бы захватить нас вооруженной рукой врасплох, дезорганизовать революцию и затем бить ее по частям. Как в июле, Ленин переоценивал проницательность и решительность врага, а может быть, уже и его материальные возможности. В значительной мере это была сознательная переоценка, тактически совершенно правильная: она имела своей задачей вызвать со стороны партии удвоенную энергию натиска. Но все же брать власть собственной рукою, независимо от Совета и за спиной его, партия не могла. Это было бы ошибкой. Последствия ее сказались бы даже на поведении рабочих и могли бы стать чрезвычайно тяжкими в отношении гарнизона. Солдаты знали Совет депутатов, свою солдатскую секцию. Партию они знали через Совет. И если бы восстание совершилось за спиной Совета, вне связи с ним, не прикрытое его авторитетом, не вытекающее прямо и ясно для них из исхода борьбы за власть Советов,-- это могло бы вызвать опасное замешательство в гарнизоне. Не нужно также забывать, что в Петербурге, наряду с местным Советом, существовал еще старый ВЦИК, с эсерами и меньшевиками во главе. Этому ВЦИК можно было противопоставить только съезд Советов.

В конце концов в Центральном Комитете определились три группировки: противники захвата власти, оказавшиеся вынужденными логикой положения отказаться от лозунга "Власть Советам"; Ленин, требовавший немедленной организации восстания, независимо от Советов, и остальная группа, которая считала необходимым тесно связать восстание со вторым съездом Советов и тем самым придвинуть его к последнему во времени. "Во всяком случае,-- настаивал Ленин,-- захват власти должен предшествовать съезду Советов, иначе вас разобьют и никакого съезда вы не созовете". В конце концов вынесена была резолюция в том смысле, что восстание должно произойти не позже 15 октября. Насчет самого срока споров, помнится, почти не было. Все понимали, что срок имеет лишь приблизительный, так сказать, ориентировочный характер и что, в зависимости от событий, можно будет несколько приблизить или несколько отдалить его. Но речь могла идти только о днях, не более. Самая необходимость срока, и притом ближайшего, была совершенно очевидна.

Главные прения на заседаниях Центрального Комитета шли, разумеется, по линии борьбы с той его частью, которая выступала против вооруженного восстания вообще. Я не берусь воспроизвести те три-четыре речи, которые произнес Ленин во время этого заседания на темы: нужно ли брать власть? пора ли брать власть? удержим ли власть, если возьмем? На те же темы Лениным было написано в то время и позже несколько брошюр и статей. Ход мыслей в речах на заседании был, разумеется, тот же. Но непередаваемым и невозпроизводимым остался общий дух этих напряженных и страстных импровизаций, проникнутых стремлением передать возражающим, колеблющимся, сомневающимся свою мысль, свою волю, свою уверенность, свое мужество. Ведь решался вопрос о судьбе революции!.. Заседание закончилось поздней ночью. Все себя чувствовали примерно так, как после перенесения хирургической операции. Часть участников заседания, и я в том числе, провели остаток ночи на квартире Сухановых.

Дальнейший ход событий, как известно, сильно помог нам. Попытка расформировать Петроградский гарнизон привела к созданию военно-революционного комитета. Мы получили возможность подготовку восстания легализовать авторитетом Совета и тесно связать с вопросом, жизненно затрагивавшим весь Петроградский гарнизон.

За время, отделяющее описанное выше заседание ЦК от 25 октября, я помню только одно свидание с Владимиром Ильичом, но и то смутно. Когда это было? Должно быть, около

15--20 октября. Помню, что меня очень интересовало, как отнесся Ленин к "оборонительному" характеру моей речи на заседании Петроградского Совета: я объявил ложными слухи о том, будто мы готовим на 22 октября ("День Петроградского Совета") вооруженное восстание, и предупредил, что на всякое нападение ответим решительным контрударом и доведем дело до конца. Помню, что настроение Владимира Ильича в это свидание было более спокойным и уверенным, я бы сказал, менее подозрительным. Он не только не возражал против внешнеоборонительного тона моей речи, но признал этот тон вполне пригодным для усыпления бдительности врага. Тем не менее он покачивал время от времени головой и спрашивал: "А не предупредят ли они нас? не захватят ли врасплох?" Я доказывал, что дальше все пойдет почти автоматически. На этом свидании, или на известной части его, присутствовал, кажется, товарищ Сталин. Может быть, впрочем, я соединяю здесь воедино два свидания. Должен вообще сказать, что воспоминания, относящиеся к последним дням, предшествовавшим перевороту, как бы спрессованы в памяти и их очень трудно отделять друг от друга, разворачивать и распределять по местам.

Следующее свидание мое с Лениным произошло уже в самый день 25 октября, в Смольном. В котором часу? Совершенно не представляю себе, должно быть, к вечеру уже. Помню хорошо, что Владимир Ильич начал с тревожного вопроса по поводу тех переговоров, которые мы вели со штабом Петроградского округа относительно дальнейшей судьбы гарнизона. В газетах сообщалось, что переговоры близятся к благополучному концу. "Идете на компромисс?"--спрашивал Ленин, всверливаясь глазами. Я отвечал, что мы пустили в газеты успокоительное сообщение нарочно, что это лишь военная хитрость в момент открытия генерального боя. "Вот это хо-ро-о-шо-о-о,-- нараспев, весело, с подъемом проговорил Ленин и стал шагать по комнате, возбужденно потирая руки.-- Это оч-чень хорошо!" Военную хитрость Ильич любил вообще. Обмануть врага, оставить его в дураках -- разве это не самое разлюбезное дело! Но в данном случае хитрость имела совсем особое значение: она означала, что мы уже непосредственно вступили в полосу решающих действий. Я стал рассказывать, что военные операции зашли уже достаточно далеко и что мы владеем сейчас в городе целым рядом важных пунктов. Владимир Ильич увидел, или, может быть, я показал ему, отпечатанный накануне плакат, угрожавший громилам, если бы они попытались воспользоваться моментом переворота, истреблением на месте. В первый момент Ленин как бы задумался, мне показалось -- даже усомнился. Но затем сказал: "Пр-р-равильно". Он с жадностью набрасывался на эти частички восстания. Они были для него бесспорным доказательством того, что на этот раз дело уже в полном ходу, что Рубикон перейден, что возврата и отступления нет. Помню, огромное впечатление произвело на Ленина сообщение о том, как я вызвал письменным приказом роту Павловского полка, чтобы обеспечить выход нашей партийной и советской газеты.

-- И что ж, рота вышла?

-- Вышла.

-- Газеты набираются?

-- Набираются.

Ленин был в восторге, выражавшемся в восклицаниях, смехе, потирании рук. Потом он стал молчаливее, подумал и сказал:

"Что ж, можно и так. Лишь бы взять власть". Я понял, что он только в этот момент окончательно примирился с тем, что мы отказались от захвата власти путем конспиративного заговора. Он до последнего часа опасался, что враг пойдет наперерез и застигнет нас врасплох. Только теперь, вечером 25 октября, он успокоился и окончательно санкционировал тот путь, каким пошли события. Я сказал "успокоился", -- но только для того, чтобы тут же прийти в беспокойство по поводу целого ряда конкретных и конкретнейших вопросов и вопросиков, связанных с дальнейшим ходом восстания: "А послушайте, не сделаете ли так-то? а не предпринять ли то-то? а не вызвать ли таких-то?" Эти бесконечные вопросы и предложения внешним образом не были связаны друг с другом, но все выростали из одной и той же напряженной внутренней работы, охватывавшей сразу весь круг восстания.

Нужно уметь не захлебнуться в событиях революции. Когда прилив неизменно поднимается, когда силы восстания автоматически нарастают, а силы реакции фатально дробятся и распадаются, тогда велико искушение отдаться стихийному течению событий. Быстрый успех обезоруживает, как и поражение. Не терять из виду основной нити событий; после каждого нового успеха говорить себе: еще ничто не достигнуто, еще ничто не обеспечено; за пять минут до решающей победы вести дело с такою же бдительностью, энергией и с таким же напором, как за пять минут до открытия вооруженных действий; через пять минут после победы, еще прежде, чем отзвучали первые приветственные клики, сказать себе:

завоевание еще не обеспечено, нельзя терять ни минуты -- таков подход, таков образ действий, таков метод Ленина, таково органическое существо его политического характера, его революционного духа.

* * *

Я уже рассказывал однажды, как Дан, идя, должно быть, на фракционное заседание меньшевиков II съезда Советов, узнал законспирированного Ленина, с которым мы сидели за небольшим столиком в какой-то проходной комнате. На этот сюжет написана даже картина, совершенно, впрочем, насколько могу судить по снимкам, не похожая на то, что было в действительности. Такова, впрочем, уж судьба исторической живописи, да и не только ее одной. Не помню по какому поводу, но значительно позднее я сказал Владимиру Ильичу: "Надо бы это записать, а то потом перевернут". Он с шутливой безнадежностью махнул рукою: "Все равно будут врать без конца"...

В Смольном шло первое заседание II съезда Советов. Ленин не появлялся на нем. Он оставался в одной из комнат Смольного, в которой, как помню, не было почему-то никакой или почти никакой мебели. Потом уже кто-то постлал на полу одеяла и положил на них две подушки. Мы с Владимиром Ильичом отдыхали, лежа рядом. Но уже через несколько минут меня позвали: "Дан говорит, нужно отвечать". Вернувшись после своей реплики, я опять лег рядом с Владимиром Ильичом, который, конечно, и не думал засыпать. До того ли было? Каждые пять -- десять минут кто-нибудь прибегал из зала заседаний сообщить о том, что там происходит. А кроме того, приходили вестники из города, где, под руководством Антонова-Овсеенко, шла осада Зимнего, закончившаяся штурмом.

Должно быть, это было на другое утро, отделенное бессонной ночью от предшествовавшего дня. У Владимира Ильича вид был усталый. Улыбаясь, он сказал: "Слишком резкий переход от подполья и переверзевщины -- к власти. Es schwindelt (кружится голова)", -- прибавил он почему-то по-немецки и сделал вращательное

движение рукой возле головы. После этого единственного более или менее личного замечания, которое я слышал от него по поводу завоевания власти, последовал простой переход к очередным делам.

III. БРЕСТ-ЛИТОВСК

К мирным переговорам мы подходили с надеждой раскатать рабочие массы как Германии и Австро-Венгрии, так и стран Антанты. С этой целью нужно было как можно дольше затягивать переговоры, чтобы дать европейским рабочим время воспринять, как следует быть, самый факт советской революции и, в частности, ее политику мира. Ленин предложил мне, после первого перерыва в переговорах, отправиться в Брест-Литовск. Сама по себе перспектива переговоров с бароном Кюльманом и генералом Гофманом была мало привлекательна, но "чтобы затягивать переговоры, нужен затягиватель", как выразился Ленин. Мы кратко обменялись в Смольном мнениями относительно общей линии переговоров. Вопрос о том, будем ли подписывать или нет, пока отодвинули: нельзя было знать, как пойдут переговоры, как отразятся в Европе, какая создастся обстановка. А мы не отказывались, разумеется, от надежд на быстрое революционное развитие.

То, что мы не можем воевать, было для меня совершенно очевидно. Когда я в первый раз проезжал через окопы на пути в Брест-Литовск, наши товарищи, несмотря на все предупреждения и понукания, оказались бессильны организовать сколько-нибудь значительную манифестацию протеста против чрезмерных требований Германии: окопы были почти пусты, никто не отважился говорить даже условно о продолжении войны. Мир, мир во что бы то ни стало!.. Позже, во время приезда из Брест-Литовска, я уговаривал представителя военной группы во ВЦИК поддержать нашу делегацию "патриотической" речью. "Невозможно,-- отвечал он,-- совершенно невозможно; мы не сможем вернуться в окопы, нас не поймут; мы потеряем всякое влияние"... Таким образом, насчет невозможности революционной войны у меня не было и тени разногласия с Владимиром Ильичем.

Но был еще вопрос: смогут ли воевать немцы, смогут ли они наступать на революцию, которая заявит о прекращении войны? Как узнать, как прошупать настроение германской солдатской массы? Какое действие произвели на нее Февральская, а затем и Октябрьская революция? Январская стачка в Германии говорила о том, что сдвиг начался. Какова глубина сдвига? Не нужно ли попытаться поставить немецкий рабочий класс и немецкую армию перед испытанием: с одной стороны, рабочая революция, объявляющая войну прекращенной; с другой стороны, голенцоллернское правительство, приказывающее на эту революцию наступать.

"Конечно, это очень заманчиво,-- возражал Ленин,-- и несомненно, такое испытание не пройдет бесследно. Но это рискованно, очень рискованно. А если германский милитаризм, что весьма вероятно, окажется достаточно силен, чтобы открыть против нас наступление,-- что тогда? Нельзя рисковать: сейчас нет на свете ничего важнее нашей революции".

Разгон Учредительного собрания на первых порах чрезвычайно ухудшил наше международное положение. Немцы все же опасались вначале, что мы сговоримся с "патриотическим" Учредительным собранием и что это может привести к попытке продолжения войны. Такого рода безрассудная попытка окончательно погубила бы революцию и страну; но это обнаружилось бы только позже и потребовало бы нового напряжения от немцев. Разгон же Учредительного собрания означал для немцев нашу очевидную готовность к прекращению войны какой угодно ценой. Тон Кюльмана сразу

стал наглее. Какое впечатление разгон Учредительного собрания мог произвести на пролетариат стран Антанты? На это нетрудно было ответить себе: антантовская печать изображала советский режим не иначе, как агентуру Гогенцоллернов. И вот большевики разгоняют "демократическое" Учредительное собрание, чтобы заключить с Гогенцоллерном кабальный мир, в то время как Бельгия и Северная Франция заняты немецкими войсками. Было ясно, что антантовской буржуазии удастся посеять в рабочих массах величайшую смуту. А это могло облегчить, в свою очередь, военную интервенцию против нас. Известно, что даже в Германии, среди социал-демократической оппозиции, ходили настойчивые слухи о том, что большевики подкуплены германским правительством и что в Брест-Литовске происходит сейчас комедия с заранее распределенными ролями. Еще более вероподобной эта версия должна была казаться во Франции и Англии. Я считал, что до подписания мира необходимо во что бы то ни стало дать рабочим Европы яркое доказательство смертельной враждебности между нами и правящей Германией. Именно под влиянием этих соображений я пришел в Брест-Литовске к мысли о той "педагогической" демонстрации, которая выражалась формулой: войну прекращаем, но мира не подписываем. Я посоветовался с другими членами делегации, встретил с их стороны сочувствие и написал Владимиру Ильичу. Он ответил: когда приедете, поговорим; может быть, впрочем, в этом его ответе было уже сформулировано несогласие с моим предложением; сейчас я этого не помню, письма у меня под руками нет, да я и не уверен, сохранилось ли оно вообще. После моего приезда в Смольный происходили у меня с Владимиром Ильичем долгие беседы.

-- Все это очень заманчиво, и было бы так хорошо, что лучше не надо, если бы генерал Гофман оказался не в силах двинуть свои войска против нас. Но на это надежды мало. Он найдет для этого специально подобранные полки из баварских кулаков, да и много ли против нас надо? Ведь вы сами говорите, что окопы пусты. А если он все-таки возобновит войну?

-- Тогда мы вынуждены будем подписать мир, и тогда для всех будет ясно, что у нас нет другого исхода. Этим одним мы нанесем решительный удар легенде о нашей закулисной связи с Гогенцоллерном.

-- Конечно, тут есть свои плюсы. Но это все же слишком рискованно. Сейчас нет ничего более важного на свете, чем наша революция; ее надо обезопасить во что бы то ни стало.

К основным трудностям вопроса присоединились еще крайние затруднения внутрипартийного порядка. В партии, по крайней мере в ее руководящих элементах, господствовало непримиримое отношение к подписанию брестских условий. Печатавшиеся в наших газетах отчеты о переговорах питали и обостряли это настроение. Наиболее яркое выражение оно нашло в группировке левого коммунизма, выдвинувшей лозунг революционной войны. Это обстоятельство, разумеется, чрезвычайно беспокоило Ленина.

-- Если Центральный Комитет решит подписать немецкие условия только под влиянием словесного ультиматума,-- говорил я,-- мы рискуем вызвать в партии раскол. Нашей партии обнаружение действительного положения вещей нужно не меньше, чем рабочим Европы... Если мы порвем с левыми, партия даст чрезвычайный крен вправо: ведь это же несомненный факт, что все те товарищи, которые занимали боевую позицию против октябрьского переворота или за блок социалистических партий, оказались безоговорочными сторонниками Брест-Литовского мира. А задачи наши ведь не исчерпываются заключением мира, среди левых коммунистов много таких, которые играли наиболее боевую роль в октябрьский период и пр. и пр.

-- Это все бесспорно,-- отвечал Владимир Ильич.-- Но сейчас дело идет о судьбе революции. Равновесие в партии мы восстановим. Но прежде всего нужно спасти революцию, а спасти ее может только подписание мира. Лучше раскол, чем опасность военного разгрома революции. Левые побалуют, а затем -- если даже доведут до раскола, что не неизбежно,-- возвратятся в партию. Если же немцы нас разгромят, то уж нас никто не возвратит... Ну хорошо, допустим, что принят ваш план. Мы отказались подписать мир. А немцы после этого переходят в наступление. Что вы тогда делаете?

-- Подписываем мир под штыками. Тогда картина ясна рабочему классу всего мира.

-- А вы не поддержите тогда лозунг революционной войны?

-- Ни в каком случае.

-- При такой постановке опыт может оказаться не столь уж опасным. Мы рискуем потерять Эстонию или Латвию. У меня были эстонские товарищи и рассказывали, как они хорошо подошли к социалистическому строительству в сельском хозяйстве. Очень будет жаль пожертвовать социалистической Эстонией,-- шутил Ленин,-- но уж придется, пожалуй, для доброго мира пойти на этот компромисс.

-- А в случае немедленного подписания мира разве исключена возможность немецкой военной интервенции в Эстонии или Латвии?

-- Положим, что так, но там только возможность, а здесь почти наверняка. Я во всяком случае буду выступать за немедленное подписание: это вернее.

Главное опасение Ленина насчет моего плана состояло в том, что, в случае возобновления немецкого наступления, мы не успеем подписать мир, то есть немецкий милитаризм не даст нам для этого времени: сей зверь прыгает быстро, много раз повторял Владимир Ильич. На совещаниях, которые решали вопрос о мире, Ленин выступал очень решительно против левых и очень осторожно и спокойно против моего предложения. Он скрепя сердце мирился с ним, поскольку партия была явно против подписания и поскольку промежуточное решение должно было явиться для партии мостом к подписанию мира. Совещание наиболее видных большевиков -- делегатов III съезда Советов -- с несомненностью показало, что наша партия, едва вышедшая из горячей октябрьской печи, нуждалась в проверке международной обстановки действием. Если б не было промежуточной формулы, большинство высказалось бы за революционную войну.

Небезынтересно, может быть, тут же отметить, что левые эсеры вовсе не сразу выступили против Брест-Литовского мира. По крайней мере, Спиридонова была в первое время решительной сторонницей подписания. "Мужик не хочет войны,-- говорила она,-- и примет какой угодно мир". "Подпишите сейчас же мир,-- говорила она мне в первый мой приезд из Бреста,-- и отмените хлебную монополию". Потом левые эсеры поддержали промежуточную формулу прекращения войны без подписания договора, но уже как этап к революционной войне -- "в случае чего".

Как известно, немецкая делегация реагировала на наше заявление так, как если бы Германия не предполагала ответить возобновлением военных действий. С этим выводом мы вернулись в Москву.

-- А не обманут они нас? -- спрашивал Ленин. Мы разводили руками. Как будто не похоже.

-- Ну что ж,-- сказал Ленин.-- Если так, тем лучше: и аппарансы (видимость) соблюдены, и из войны вышли [Приведенные в этой главе диалоги имеют, разумеется, лишь приблизительный характер, но фразу "об аппарансах" помню дословно.-- *Прим. авт.*].

Однако за два дня до истечения срока мы получили от остававшегося в Бресте генерала Самойло телеграфное извещение о том, что немцы, по заявлению генерала Гофмана, считают себя с 12 часов 18 февраля в состоянии войны с нами и потому предложили ему удалиться из Брест-Литовска. Телеграмму эту первым получил Владимир Ильич. Я был у него в кабинете. Шел разговор с Карелиным и еще с кем-то из левых эсеров. Получив телеграмму, Ленин молча передал ее мне. Помню его взгляд, сразу заставивший меня почувствовать, что телеграмма принесла большое и недоброе известие. Ленин поспешил закончить разговор с эсерами, чтобы обсудить создавшееся положение.

-- Значит, все-таки обманули. Выгадали 5 дней... Этот зверь ничего не упускает. Теперь уж, значит, ничего не остается, как подписать старые условия, если только немцы согласятся сохранить их.

Я возражал в том смысле, что нужно дать Гофману перейти в фактическое наступление.

-- Но ведь это значит сдать Двинск, потерять много артиллерии и пр.?

-- Конечно, это означает новые жертвы. Но нужно, чтобы немецкий солдат фактически, с боем вступил на советскую территорию. Нужно, чтобы об этом узнали немецкий рабочий, с одной стороны, французский и английский -- с другой.

-- Нет,-- возразил Ленин.-- Дело, конечно, не в Двинске, но сейчас нельзя терять ни одного часу. Испытание проделано. Гофман хочет и может воевать. Откладывать нельзя: и так у нас уже отняли 5 дней, на которые я рассчитывал. А этот зверь прыгает быстро.

Центральным Комитетом было вынесено решение о посылке телеграммы с выражением немедленного согласия на подписание Брест-Литовского договора. Соответственная телеграмма была отправлена.

-- Мне кажется,-- сказал я в частном разговоре Владимиру Ильичу,-- что политически было бы целесообразно, если бы я, как наркоминдел, подал в отставку.

-- Зачем? Мы ведь этих парламентских приемов заводить не будем.

-- Но моя отставка будет для немцев означать радикальный поворот политики и усилит их доверие к нашей действительной на этот раз готовности подписать мир и соблюдать его.

-- Пожалуй,-- сказал Ленин, размышляя.-- Это серьезный политический довод.

Не припоминаю, в какой момент получилось сообщение о десанте немецких войск в Финляндии и о начавшемся разгроме финских рабочих. Помню, я столкнулся с Владимиром Ильичом в коридоре, недалеко от его кабинета. Он был чрезвычайно взволнован. Я не видал его таким никогда, ни раньше, ни позже.

-- Да,-- сказал он,-- по-видимому, придется драться, хоть и нечем. Но иного выхода на этот раз, кажется, нет...

Такова была первая реакция Ленина на телеграмму о разгроме финской революции. Но уже минут через 10--15, когда я зашел к нему в кабинет, он сказал:

-- Нет, нельзя менять политики. Наше выступление не спасло бы революционной Финляндии, но наверняка погубило бы нас. Всем, чем можно, поможем финским рабочим, но не сходя с почвы мира. Не знаю, спасет ли нас это теперь. Но это во всяком случае, единственный путь, на котором еще возможно спасение.

И спасение действительно оказалось на этом пути.

* * *

Решение не подписывать мира вовсе не вытекало, как теперь иной раз пишут, из абстрактного соображения, будто вообще немисливо соглашение между нами и империалистами. Достаточно посмотреть в книжке товарища Овсянникова произведенные Лениным в высшей степени поучительные голосования по этому вопросу, чтобы убедиться, что сторонники прощупывательной формулы "ни войны ни мира" ответили положительно на вопрос, вправе ли мы, как революционная партия, подписать в известных условиях "похабный" мир. На самом деле мы говорили: если есть хоть 25 шансов на 100, что Гогенцоллерн не решится или не сможет воевать с нами, нужно, хотя бы и с известным риском, пойти на этот опыт.

Три года спустя мы шли на риск -- на этот раз по инициативе Ленина -- прощупывания штыком буржуазно-шляхетской Польши. Мы были отброшены. В чем тут разница с Брест-Литовском? Принципиальной разницы нет, но есть разница в степени риска.

Помнится, товарищ Радек писал как-то, что могущество тактической мысли Ленина ярче всего выражается в размахе между подписанием Брест-Литовского мира и походом на Варшаву. Все мы теперь знаем, что поход на Варшаву был ошибкой, которая обошлась страшно дорого. Она не только привела нас к Рижскому миру, который отрезал нас от Германии, но и дала, наряду с другими событиями того же периода, могущественный толчок консолидации буржуазной Европы. Контрреволюционное значение Рижского договора для судеб Европы можно яснее всего понять, представив себе обстановку хотя бы одного только 1923 года, при условии, что у нас с Германией имелась бы общая граница:слишком многое говорит за то, что развитие событий в Германии развернулось бы в этом случае совершенно другим путем. Нельзя сомневаться также и в том, что в самой Польше революционное движение пошло бы несравненно более благоприятным темпом без нашей военной интервенции и ее крушения. Ленин сам, насколько я знаю, придавал огромное значение "варшавской" ошибке. И тем не менее Радек в своей оценке ленинского тактического размаха совершенно прав. Разумеется, после того как "прощупывание" трудящихся масс Польши было произведено и не дало ожидавшихся результатов; после того как нас отбросили назад -- и не могли не отбросить, ибо при сохранении спокойствия в Польше наш поход на Варшаву был только партизанским набегом; после того как мы оказались вынужденными подписать Рижский мир,-- нетрудно сделать вывод, что правы были противники похода и что лучше было бы остановиться вовремя и обеспечить за собою общую границу с Германией. Но ведь все это стало ясно лишь задним числом. А то, что знаменательно для Ленина в идее варшавского похода, это -- мужество замысла. Риск был велик, но цель превосходила риск. Возможная неудача плана не несла с собою опасности самому существованию Советской республики, а только ее ослабление...

Можно предоставить будущему историку оценивать, стоило ли рисковать ухудшением условий Брест-Литовского мира в целях демонстрации перед европейскими рабочими. Но совершенно очевидно, что, после того как эта демонстрация была проделана, должно и обязательно было подписать навязанный мир. И здесь отчетливость позиции Ленина и его могучий напор спасли положение.

-- А если немцы будут все же наступать? А если двинутся на Москву?

-- Отступим дальше на восток, на Урал, заявляя о готовности подписать мир. Кузнецкий бассейн богат углем. Создадим УралоКузнецкую республику, опираясь на уральскую промышленность и на кузнецкий уголь, на уральский пролетариат и на ту часть московских и питерских рабочих, которых удастся увезти с собой. Будем держаться. В случае нужды уйдем еще дальше на восток, за Урал. До Камчатки дойдем, но будем держаться. Международная обстановка будет меняться десятки раз, и мы из пределов Урало-Кузнецкой республики снова расширится и вернемся в Москву и Петербург. А если мы ввяжемся сейчас без смысла в революционную войну и дадим вырезать цвет рабочего класса и нашей партии, тогда уж, конечно, никуда не вернемся.

В тот период Урало-Кузнецкая республика занимала большое место в аргументации Ленина. Он иногда прямо-таки огорошивал оппонентов вопросом: "А вы знаете, что в Кузнецком бассейне у нас огромные залежи угля? В соединении с уральской рудой и сибирским хлебом мы имеем новую базу". Оппонент, не всегда ясно себе представлявший, где находится Кузнецк и какое отношение имеет тамошний уголь к последовательному большевизму и революционной войне, тарасил глаза или смеялся от неожиданности, полагая, что Ильич не то шутит, не то хитрит. А на самом деле Ленин нисколько не шутил, а -- верный себе -- продумывал обстановку до ее крайних последствий и наихудших практических выводов. Концепция Урало-Кузнецкой республики ему органически необходима была, чтобы укрепить себя и других в убеждении, что ничто еще не потеряно и что для стратегии отчаяния нет и не может быть места.

До Урало-Кузнецкой республики дело, как известно, не дошло, и хорошо, что не дошло. Но можно сказать все же, что неосуществившаяся Урало-Кузнецкая республика спасла РСФСР.

Во всяком случае, понять и оценить брест-литовскую тактику Ленина можно, только связав ее с его октябрьской тактикой. Быть против Октября и за Брест значило в обоих случаях быть, по существу, выразителем одних и тех же капитулянтских настроений. Вся суть в том, что Ленин развил за брест-литовскую капитуляцию ту же самую неистощимую революционную энергию, которая обеспечила партии победу в Октябре. Именно это естественное, органическое сочетание Октября с Брестом, гигантского размаха с мужественной осторожностью, напора с глазомером дает меру ленинского метода и ленинской силы.

IV. РАЗГОН УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

В первые же дни, если не часы, после переворота Ленин поставил вопрос об Учредительном собрании.

-- Надо отсрочить,-- предложил он,-- надо отсрочить выборы. Надо расширить избирательные права, дав их 18-летним. Надо дать возможность обновить избирательные списки. Наши собственные списки никуда не годятся: множество случайной

интеллигенции, а нам нужны рабочие и крестьяне. Корниловцев, кадетов надо объявить вне закона.

Ему возражали:

-- Неудобно сейчас отсрочивать. Это будет понято как ликвидация Учредительного собрания, тем более что мы сами обвиняли Временное правительство в оттягивании Учредительного собрания.

-- Пустяки! -- возражал Ленин.-- Важны факты, а не слова. По отношению к Временному правительству Учредительное собрание означало или могло означать шаг вперед, а по отношению к Советской власти, и особенно при нынешних списках, будет неизбежно означать шаг назад. Почему неудобно отсрочивать? А если Учредительное собрание окажется кадетски-меньшевистски-эсеровским, это будет удобно?

-- Но к тому времени мы будем сильнее,-- возражали другие,-- а сейчас мы еще слишком слабы. О Советской власти в провинции почти ничего не знают. И если туда теперь же попадет весть о том, что мы отсрочили Учредительное собрание, это нас ослабит еще более.-- Особенно энергично против отсрочки выступал Свердлов, более нас связанный с провинцией.

Ленин со своей позицией оказался одиноким. Он недовольно помахивал головой и повторял:

-- Ошибка, явная ошибка, которая может нам дорого обойтись! Как бы эта ошибка не стоила революции головы...

Но когда решение было принято: не отсрочивать! -- Ленин перенес все свое внимание на организационные меры, связанные с осуществлением Учредительного собрания.

Выяснилось тем временем, что мы будем в меньшинстве даже с левыми эсерами, которые шли в общих списках с правыми и были кругом обмануты.

-- Надо, конечно, разогнать Учредительное собрание,-- говорил Ленин,-- но вот как насчет левых эсеров?

Нас, однако, очень утешил старик Натансон. Он зашел к нам "посоветоваться" и с первых же слов сказал:

-- А ведь придется, пожалуй, разогнать Учредительное собрание силой.

-- Bravo! -- воскликнул Ленин.-- Что верно, то верно! А пойдут ли на это ваши?

-- У нас некоторые колеблются, но я думаю, что в конце концов согласятся,-- ответил Натансон.

Левые эсеры тогда переживали медовые недели своего крайнего радикализма: они действительно согласились.

-- А не сделать ли нам так,-- предложил Натансон,-- присоединить вашу и нашу фракции Учредительного собрания к Центральному Исполнительному Комитету и образовать таким образом Конвент?

-- Зачем? -- с явной досадой ответил Ленин.-- Для подражания французской революции, что ли? Разгоном учредилки мы утверждаем советскую систему. А при вашем плане все будет спутано: ни то ни се.

Натансон попробовал было доказывать, что при его плане мы присоединим к себе часть авторитета Учредительного собрания, но скоро сдался.

Ленин занялся вопросом об учредилке вплотную.

-- Ошибка явная,-- говорил он,-- власть уже завоевана нами, а мы между тем поставили сами себя в такое положение, что вынуждены принимать военные меры, чтоб завоевать ее снова.

Подготовку он вел со всей тщательностью, продумывая все детали и подвергая на этот счет пристрастному допросу Урицкого, назначенного, к великому его прискорбию, комиссаром Учредительного собрания. Ленин распорядился, между прочим, о доставке в Петроград одного из латышских полков, наиболее рабочего по составу.

-- Мужик может колебнуться в случае чего,-- говорил он,-- тут нужна пролетарская решимость.

Большевистские депутаты Учредительного собрания, съехавшиеся со всех концов России, были -- под нажимом Ленина и руководством Свердлова -- распределены по фабрикам, заводам и воинским частям. Они составляли важный элемент в организационном аппарате "дополнительной революции" 5 января. Что касается эсеровских депутатов, то те считали несовместимым с высоким званием народного избранника участие в борьбе: "Народ нас избрал, пусть он нас и защищает". По существу дела, эти провинциальные мещане совершенно не знали, что с собой делать, а большинство и просто трусило. Зато они тщательно разработали ритуал первого заседания. Они принесли с собой свечи на случай, если большевики потушат электричество, и большое количество бутербродов на случай, если их лишат пищи. Так демократия явилась на бой с диктатурой -- во всеоружии бутербродов и свечей. Народ и не подумал о поддержке тех, которые считали себя его избранниками, а на деле были теньями уже исчерпанного периода революции.

Во время ликвидации Учредительного собрания я был в БрестЛитовске. Но в день моего ближайшего приезда на совещание в Петроград Ленин говорил мне по поводу разгона учредилки:

"Конечно, было очень рискованно с нашей стороны, что мы не отложили созыва, очень, очень неосторожно. Но, в конце концов, вышло лучше. Разгон Учредительного собрания Советской властью есть полная и открытая ликвидация формальной демократии во имя революционной диктатуры. Теперь урок будет твердый". Так теоретическое обобщение шло рука об руку с применением латышского стрелкового полка. Несомненно, что в то время должны были окончательно сложиться в сознании Ленина те идеи, которые он позже, во время I конгресса Коминтерна, формулировал в своих замечательных тезисах о демократии.

Критика формальной демократии имеет, как известно, свою длинную историю. Межеумочный характер революции 1848 года

и мы и наши предшественники объясняли крушением политической демократии. Ей на смену пришла демократия "социальная". Но буржуазное общество сумело заставить эту

последнюю занять то место, которого уже не в силах была удерживать чистая демократия. Политическая история прошла через длительный период, когда социальная демократия, питаясь критикой чистой демократии, фактически выполняла обязанности последней и пропиталась насквозь ее пороками. Произошло то, что не раз бывало в истории: оппозиция оказалась призванной для консервативного разрешения тех задач, с которыми не могли уже справиться скомпрометированные силы вчерашнего дня. Из временного условия подготовки пролетарской диктатуры демократия стала верховным критерием, последней контрольной инстанцией, неприкосновенной святыней, то есть высшим лицемерием буржуазного общества. Так было и у нас. Получив смертельный материальный удар в октябре, буржуазия пыталась еще воскреснуть в январе, в призрачносвященной форме Учредительного собрания. Дальнейшее победоносное развитие пролетарской революции после открытого, явного, грубого разгона Учредительного собрания нанесло формальной демократии тот благодетельный удар, от которого ей уже не подняться никогда. Вот почему Ленин был прав, говоря: "В конце концов, лучше, что так вышло!"

* * *

В лице эсеровской учредилки февральская республика получила оказию умереть вторично.

На фоне общего моего впечатления от официальной февральской России, от тогдашнего меньшевистски-эсеровского Петроградского Совета ярко вырисовывается и сейчас, точно это было вчера, одна физиономия эсеровского делегата. Ни кто он, ни откуда он, я не знал и не знаю. Должно быть, из провинции. Видом он был похож на молодого учителя из хороших семинаристов. Курносое, почти безусое лицо, простовато-скуластое, в очках. Это было на том заседании, где министры-социалисты впервые представлялись Совету. Чернов пространно, умильно, рыхло, кокетливо и тошнотворно объяснял, почему именно он и другие вошли в правительство и какие из этого воспоследуют благие последствия. Помню одну надоедливую фразу, повторявшуюся оратором десятки раз: "Вы нас вдвинули в правительство, вы нас можете и выдвинуть". Семинарист глядел на оратора глазами сосредоточенного обожания. Так должен чувствовать и смотреть верующий богомолец, попавший в преславную обитель и сподобившийся услышать поучение пресвятого старца. Речь лилась бесконечно, зал моментами уставал, поднимался шумок. Но у семинариста источники благоговейного восторга казались неиссякаемыми. Вот как она выглядит, наша или, вернее, их революция! -- говорил я себе на этом первом увиденном и услышанном мною Совете 1917 года. По окончании черновской речи зал бурно аплодировал. Только в одном уголке недовольно переговаривались немногочисленные большевики. Эта группа сразу выделилась на общем фоне, когда она дружно поддержала мою критику оборонческого министерализма меньшевиков и эсеров. Благоговейный семинарист был испуган и встревожен до последней степени. Не возмущен: в те дни он еще не смел чувствовать возмущение против прибывшего на родину эмигранта. Но он не мог понять, как можно быть против такого во всех отношениях радостного и прекрасного факта, как вступление Чернова в состав Временного правительства. Он сидел в нескольких шагах от меня, и на лице его, которое служило для меня барометром собрания, испуг и недоумение боролись с еще не успевшим сползти благоговением. Это лицо навсегда осталось в памяти как образ Февральской революции -- ее лучший образ, простовато-наивный, низовой, мещански-семинарский, ибо у нее был и другой, худший, дано-черновский.

Недаром ведь и не случайно Чернов оказался председателем Учредительного собрания. Его подняла февральская Россия, лениво-революционная, еще полуобломовская,

республикански-маниловская и ох какая (в одной части) простоватая! и ах какая (в другой части) жуликоватая!.. Спросонок мужик поднимал и выпирал наверх Черновых через посредство благоговейных семинаристов. И Чернов принимал этот мандат не без расейской грации и не без расейского же плутовства.

Ибо Чернов -- и к этому я веду речь -- в своем роде тоже национален. Я говорю "тоже" потому, что года четыре тому назад мне пришлось писать о национальном в Ленине. Сопоставление или хотя бы косвенное сближение этих двух фигур может показаться неуместным. И оно действительно было бы грубо, неуместно, если бы дело шло о личностях. Но речь тут идет о "стихиях" национального, об их воплощении и отражении. Чернов есть эпигонство старой революционной интеллигентской традиции, а Ленин -- ее завершение и полное преодоление. В старой интеллигенции сидел и дворянин, кающийся и многоречиво размазывающий идею долга перед народом; и благоговейный семинарист, приоткрывший из лампадной тятенькиной квартиры форточку в мир критической мысли; и просвещенный мужичок, колебавшийся между социализацией и отрубным хутором; и одиночка-рабочий, понатершийся вокруг господ студентов, от своих оторвавшийся, к чужим не приставший. Вот это все есть в черновщине, сладкогласой, бесформенной и межеумочной насквозь. От старого интеллигентского идеализма эпохи Софьи Перовской в черновщине почти ничего не осталось. Зато прибавилось кое-что от новой промышленно-купеческой России, главным образом по части "не обманешь, не продашь". Герцен был в свое время огромным и великолепным явлением в развитии русской общественной мысли. Но дайте Герцену застояться на полстолетия, да выдерните из него радужные перья таланта, превратите его в своего собственного эписгона, поставьте его на фоне 1905--1917 годов,-- и вот вам элемент черновщины. С Чернышевским такую операцию проделать труднее, но в черновщине есть элемент карикатуры и на Чернышевского. Связь с Михайловским гораздо более непосредственная, ибо в самом Михайловском эпигонство уже преобладало. Под черновщиной, как и под всем нашим развитием, подоплека крестьянская, но преломившаяся через недозревшее полуинтеллигентное городское и сельское мещанство или через перезревшую и изрядно прокисшую интеллигенцию. Кульминация черновщины была по необходимости мимолетной. Пока толчок, данный первым февральским пробуждением солдата, рабочего и мужика через целый ряд передаточных ступеней из вольноопределяющихся, семинаристов, студентов и адвокатов, через контактные комиссии и всякие иные премудрости успел поднять Черновых на демократические высоты, в низах произошел уже решающий сдвиг, и демократические высоты повисли в воздухе. Поэтому-то вся черновщина -- между Февралем и Октябрем--сосредоточилась в заклинании: "Остановись, мгновенье: ты прекрасно!" Но мгновенье не останавливалось. Солдат "сатанел", мужик становился на дыбы, даже семинарист быстро утрачивал февральское благоговение -- и в результате черновщина, распустив фалды, совсем-таки неграциозно спускалась с воображаемых высот во вполне реальную лужу.

Крестьянская подоплека есть и под ленинизмом, поскольку она есть под русским пролетариатом и под всей нашей историей. К счастью, в истории нашей не только ведь пассивность и обломовщина, но и движение. В самом крестьянине -- не только предрассудок, но и рассудок. Все черты активности, мужества, ненависти к застою и насилию, презрения к слабыхарактерности,-- словом, все те элементы движения, которые скопились ходом социальных сдвигов и динамикой классовой борьбы, нашли свое выражение в большевизме. Крестьянская подоплека преломилась тут через пролетариат, через самую динамическую силу нашей, да и не только нашей, истории, и этому преломлению Ленин дал законченное выражение. В этом именно смысле Ленин есть головное выражение национальной стихии. А черновщина отражает ту же национальную подоплеку, но не с головы, и даже совсем не с головы.

Трагикомический эпизод 5 января 1918 года (разгон Учредительного собрания) был последним принципиальным столкновением ленинизма и черновщины. Но именно лишь "принципиальным", ибо практически никакого столкновения не было, а была маленькая и жалконьякая арьергардная демонстрация сходящей со сцены "демократии", во всеоружии свечей и бутербродов. Раздутые фикции лопнули, дешевые декорации обвалились, напыщенная моральная сила обнаружила себя глуповатым бессилием. Finis!

V. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ РАБОТА

Власть в Петербурге завоевана. Надо формировать правительство.

-- Как назвать его? -- рассуждал вслух Ленин.-- Только не министрами: это гнусное, истрепанное название.

-- Можно бы -- комиссарами,-- предложил я,-- но только теперь слишком много комиссаров. Может быть, верховные комиссары?.. Нет, "верховные" звучит плохо. Нельзя ли "народные"?

-- Народные комиссары? Что ж, это, пожалуй, подойдет. А правительство в целом?

-- Совет Народных Комиссаров?

-- Совет Народных Комиссаров,-- подхватил Ленин,-- это превосходно: пахнет революцией.

Последнюю фразу помню дословно [Тов. Милютин рассказал этот эпизод несколько иначе; но приведенная выше редакция кажется мне более правильной. Во всяком случае, слова Ленина "пахнет революцией" относятся к моему предложению назвать правительство в целом Советом Народных Комиссаров.-- *Прим. авт.*].

За кулисами шли тягучие переговоры с Викжелем, с левыми эсерами и пр. Об этой главе могу, однако, сказать немного. Помню только неистовое возмущение Ленина по поводу наглых викжелельных претензий и не меньшее возмущение теми из наших, кому эти претензии импонировали. Но переговоры мы продолжали, так как с Викжелем до поры до времени приходилось считаться.

По инициативе товарища Каменева был отменен введенный Керенским закон о смертной казни для солдат. Я сейчас не могу твердо припомнить, в какое учреждение Каменев внес это предложение, вероятнее всего, в Военно-революционный комитет, и, по-видимому, уже утром 25 октября. Помню, что это было в моем присутствии и что я не возражал. Ленина при этом еще не было. Дело происходило, очевидно, до его прибытия в Смольный. Когда он узнал об этом первом законодательном акте, возмущению его не было конца.

-- Вздор,-- повторял он.-- Как же можно совершить революцию без расстрелов? Неужели же вы думаете справиться со всеми врагами, обезоружив себя? Какие еще есть меры репрессии? Тюремное заключение? Кто ему придает значение во время гражданской войны, когда каждая сторона надеется победить?

Каменев пробовал доказывать, что дело идет лишь об отмене смертной казни, предназначавшейся Керенским специально для дезертиров-солдат. Но Ленин был

непримирим. Для него было ясно, что за этим декретом скрывается непродуманное отношение к тем невероятным трудностям, которым мы идем навстречу.

-- Ошибка,-- повторял он,-- недопустимая слабость, пацифистская иллюзия и пр. Он предлагал сейчас же отменить этот декрет. Ему возражали, указывая на то, что это произведет крайне неблагоприятное впечатление. Кто-то сказал: лучше просто прибегнуть к расстрелу, когда станет ясным, что другого выхода нет. В конце концов на этом остановились.

Буржуазные, эсеровские и меньшевистские газеты представляли собой с первых же дней переворота довольно согласный хор волков, шакалов и бешеных собак. Только "Новое время" пыталось взять "лояльный" тон, поджимая хвост между задних ног.

-- Неужели же мы не обуздаем эту сволочь? -- спрашивал при всякой okazji Владимир Ильич.-- Ну какая же это, прости господи, диктатура!

Газеты особенно ухватились за слова "грабь награбленное" и ворочали их на все лады: и в передовицах, и в стихах, и в фельетонах.

-- И далось им это "грабь награбленное",-- с шутливым отчаянием говорил раз Ленин.

-- Да чьи это слова? -- спросил я.-- Или это выдумка?

-- Да нет же, я как-то действительно это сказал,-- ответил Ленин,-- сказал да и позабыл, а они из этого сделали целую программу.-- И он юмористически замахал рукой.

Всякий знает, кто что-нибудь знает о Ленине, что одна из сильнейших его сторон состояла в умении отделить каждый раз существо от формы. Но очень не мешает подчеркнуть, что он чрезвычайно ценил и форму, зная власть формального над умами и тем самым превращая формальное в материальное. С момента объявления Временного правительства низложенным Ленин систематически, и в крупном и в малом, действовал как правительство. У нас еще не было никакого аппарата; связь с провинцией отсутствовала; чиновники саботировали; Викжель мешал телеграфным переговорам с Москвой; денег не было, и не было армии. Но Ленин везде и всюду действовал постановлениями, декретами, приказами от имени правительства. Разумеется, он был при этом дальше, чем кто бы то ни было, от суеверного преклонения перед формальными заклинаниями. Он слишком ясно сознавал, что наша сила в том новом государственном аппарате, который строился с низов, из петроградских районов. Но для того чтобы сопрячь работу, шедшую сверху, из опустевших или саботировавших канцелярий, с творческой работой, шедшей снизу, нужен был этот тон формальной настойчивости, тон правительства, которое сегодня еще мечется в пустоте, но которое завтра или послезавтра станет силой и потому выступает уже сегодня как сила. Этот формализм необходим был также и для того, чтобы дисциплинировать нашу собственную братию. Над бурлящей стихией, над революционными импровизациями передовых пролетарских групп постепенно натягивались нити правительственного аппарата.

Кабинет Ленина и мой были в Смольном расположены на противоположных концах здания. Коридор, нас соединявший или, вернее, разъединявший, был так длинен, что Владимир Ильич, шутя, предлагал установить сообщение на велосипедах. Мы были соединены телефоном, матросы часто прибегали, переноса замечательные ленинские записки, на небольших кусочках бумаги, из двух-трех крепких фраз, поставленных, каждая, на ребро, с двух и трехкратным подчеркиванием наиболее существенных слов и с

заключительным вопросом -- тоже ребром. Я несколько раз на дню проходил по бесконечному коридору, походившему на муравейник, в кабинет к Владимиру Ильичу на совещания. В центре стояли боевые вопросы. Заботы по министерству иностранных дел я целиком предоставил товарищам Маркину и Залкиндю. Сам я ограничился написанием нескольких агитационных нот да немногочисленными приемами.

Немецкое наступление поставило нас перед труднейшими задачами, а средств для их разрешения не было, как не было и элементарнейшего умения найти эти средства или создать их. Мы начали с воззвания. Написанный мною проект -- "Социалистическое отечество в опасности"--обсуждался вместе с левыми эсерами. Эти последние, в качестве новобранцев интернационализма, смутились заголовком воззвания. Ленин, наоборот, очень одобрил:

"Сразу показывает перемену нашего отношения к защите отечества на 180 градусов. Так именно и надо!" В одном из заключительных пунктов проекта говорилось об уничтожении на месте всякого, кто будет оказывать помощь врагам. Левый эсер Штейнберг, которого каким-то странным ветром занесло в революцию и даже взметнуло до Совнаркома, восставал против этой жестокой угрозы, как нарушающей "пафос воззвания".

-- Наоборот,-- воскликнул Ленин,-- именно в этом настоящий революционный пафос (он иронически передвинул ударение) и заключается. Неужели же вы думаете, что мы выйдем победителями без жесточайшего революционного террора?

Это был период, когда Ленин при каждом подходящем случае вколачивал мысль о неизбежности террора. Всякие проявления прекраснодушия, маниловщины, халатности -- а всего этого было хоть отбавляй -- возмущали его не столько сами по себе, сколько как признак того, что даже верхи рабочего класса не отдают еще себе достаточного отчета в чудовищной трудности задач, которые могут быть разрешены лишь мерами чудовищной же энергии. "Им,-- говорил он про врагов,-- грозит опасность лишиться всего. И в то же время у них есть сотни тысяч людей, прошедших школу войны, сытых, отважных, готовых на все офицеров, юнкеров, буржуазных и помещичьих сынков, полицейских, кулаков. А вот эти, извините за выражение, "революционеры" воображают, что мы сможем совершить революцию по-доброму да по-хорошему. Да где они учились? Да что они понимают под диктатурой? Да какая у него выйдет диктатура, если он сам тютя?" Такие тирады можно было слышать десятки раз на дню, и они всегда метили в кого-нибудь из присутствующих, подозрительного по "пацифизму". Ленин не пропускал ни одного случая, когда говорилось при нем о революции, о диктатуре, особенно когда это происходило на заседаниях Совнаркома или в присутствии левых эсеров или колеблющихся коммунистов, чтобы не заметить тут же: "Да где у нас диктатура? Да покажите ее! У нас-- каша, а не диктатура". Слово "каша" он очень любил. "Если мы не сумеем расстрелять саботажника-белогвардейца, то какая же это великая революция? Да вы смотрите, как у нас буржуазная шваль пишет в газетах? Где же тут диктатура? Одна болтовня и каша"... Эти речи выражали его действительное настроение, имея в то же время сугубо умышленный характер: согласно своему методу, Ленин вколачивал в головы сознание необходимости исключительно суровых мер для спасения революции.

Бессилие нового государственного аппарата обнаружилось ярче всего с момента перехода немцев в наступление. "Вчера еще прочно сидели в седле,-- говорил наедине Ленин,-- а сегодня только лишь держимся за гриву. Зато и урок! Этот урок должен подействовать на нашу проклятую обломовщину. Наводи порядок, берись за дело, как следует быть, если не

хочешь быть рабом! Большой будет урок, если... если только немцы с белыми не успеют нас скинуть".

-- А что,-- спросил меня однажды совершенно неожиданно Владимир Ильич,-- если нас с вами белогвардейцы убьют, смогут Бухарин со Свердловым справиться?

-- Авось не убьют,-- ответил я шутя.

-- А черт их знает,-- сказал Ленин и сам рассмеялся. На этом разговор и кончился.

В одной из комнат того же Смольного заседал штаб. Это было самое беспорядочное из всех учреждений. Никогда нельзя было понять, кто распоряжается, кто командует и чем именно. Тут впервые встал (в общей своей форме) вопрос о военных специалистах. Мы уже имели некоторый опыт на этот счет в борьбе с Красновым, где командующим мы назначили полковника Муравьева, а он в свою очередь поручил руководство операциями под Пулковом полковнику Вальдену. При Муравьеве состояло четыре матроса и один солдат, с инструкцией -- глядеть в оба и не снимать руки с револьвера. Таков был зародыш комиссарской системы. Этот опыт лег в известной мере в основу создания Высшего военного совета.

-- Без серьезных и опытных военных нам из этого хаоса не выбраться,-- говорил я Владимиру Ильичу каждый раз после посещения штаба.

-- Это, по-видимому, верно. Да как бы не предали...

-- Приставим к каждому комиссара.

-- А то еще лучше двух,-- воскликнул Ленин,-- да рукастых. Не может же быть, чтобы у нас не было рукастых коммунистов.

Так возникла конструкция Высшего военного совета.

Вопрос о переезде правительства в Москву вызвал немалые трения. Это-де похоже на дезертирство из Петрограда, основоположника Октябрьской революции. Рабочие-де этого не поймут. Смольный-де стал синонимом Советской власти, а теперь его предлагают ликвидировать и пр. и пр. Ленин буквально из себя выходил, отвечая на эти соображения: "Можно ли такими сентиментальными пустяками загоразживать вопрос о судьбе революции? Если немцы одним скачком возьмут Питер и нас в нем, то революция погибла. Если же правительство -- в Москве, то падение Петербурга будет только частным тяжким ударом. Как же вы этого не видите, не понимаете? Более того, оставаясь при нынешних условиях в Петербурге, мы увеличиваем военную опасность для него, как бы толкая немцев к захвату Петербурга. Если же правительство -- в Москве, искушение захватить Петербург должно чрезвычайно уменьшиться: велика ли корысть оккупировать голодный революционный город, если эта оккупация не решает судьбы революции и мира? Что вы калякаете о символическом значении Смольного! Смольный -- потому Смольный, что мы в Смольном. А будем в Кремле, и вся ваша символика перейдет к Кремлю". В конце концов оппозиция была сломлена. Правительство переехало в Москву. Я еще оставался некоторое время в Петербурге, кажется, в звании председателя Петербургского военно-революционного комитета. По приезду в Москву я застал Владимира Ильича в Кремле, в так называемом Кавалерском корпусе. "Каши", то есть беспорядка и хаоса, тут было никак не меньше, чем в Смольном. Владимир Ильич

добродушно поругивал москвичей, проникнутых великим местничеством, и постепенно, шаг за шагом, натягивал вожжи.

Правительство, довольно часто обновлявшееся по частям, развертывало тем временем лихорадочную декретную работу. Каждое заседание Совнаркома первого периода представляло картину величайшей законодательной импровизации. Все приходилось начинать сначала, воздвигать на чистом месте. "Прецедентов" отыскать нельзя было, ибо таковыми история не запаслась. Даже простые справки наводить было трудно за недостатком времени. Вопросы выдвигались не иначе как в порядке революционной неотложности, то есть в порядке самого невероятного хаоса. Большое причудливо перемешивалось с малым. Второстепенные практические задачи вели к сложнейшим принципиальным вопросам. Не все, далеко не все декреты были согласованы друг с другом, и Ленин не раз иронизировал, и даже публично, по поводу несогласованности нашего декретного творчества. Но в конце концов эти противоречия, хотя бы и очень острые с точки зрения практических задач момента, утопали в работе революционной мысли, которая законодательным пунктиром намечала новые пути для нового мира человеческих отношений.

Незачем говорить, что руководство всей этой работой принадлежало Ленину. Он неумоимо председательствовал по пять и по шесть часов подряд в Совнаркоме (а заседания Совнаркома происходили в первый период ежедневно), переходя с вопроса на вопрос, руководя прениями, строго отпуская ораторам время по карманным часам, которые позже были заменены председательским секундомером. Вопросы (по общему правилу) ставились без подготовки и всегда, как сказано, в порядке срочности. Очень часто самое существо вопроса было неизвестно и членам Совнаркома и председателю до начала прений. А прения были всегда сжатые, на вступительный доклад полагалось 5--10 минут. И тем не менее председатель прощупывал необходимое русло. Когда участников заседания было много, и среди них спецы и вообще незнакомые лица, Владимир Ильич прибегал к своему любимому жесту:

приставив ко лбу правую руку козырьком, глядел сквозь пальцы на докладчиков и вообще на участников собрания, и, вопреки смыслу поговорки "глядеть сквозь пальцы", глядел очень зорко и внимательно, высматривая, что ему нужно. На узенькой полоске бумаги -- мельчайшими буквами (экономия!) -- заносилась запись ораторов, один глаз глядел на часы, которые время от времени показывались над столиком, чтобы напомнить оратору о необходимости кончать. И в то же время председатель быстро набрасывал на бумаге резолютивные выводы из тех соображений, которые он нашел наиболее значительными в процессе прений. Обычно к тому же еще Ленин в целях экономии времени посылал участникам собрания коротенькие записочки, требуя тех или других справок. Эти записки представляли собой очень обширный и очень интересный эпистолярный элемент в технике советского законодательства. Большая часть их, однако, погибла, так как ответ писался сплошь да рядом на обороте вопроса и записочка тут же подвергалась председателем аккуратному уничтожению. В известный момент Ленин оглашал свои резолютивные пункты, выраженные всегда с намеренной резкостью и педагогической угловатостью (чтоб подчеркнуть, выдвинуть, не дать смазать), после чего прения либо вовсе прекращались, либо входили в конкретное русло практических предложений и дополнений. Ленинские "пункты" и ложились в основу декрета.

Для руководства этой работой помимо других необходимых качеств требовалось огромное творческое воображение. Это слово может показаться на первый взгляд неподходящим, но оно тем не менее выражает самую суть дела. Человеческое воображение бывает различного рода: оно так же необходимо инженеру-конструктору,

как и необузданному романтику. Один из драгоценных видов воображения состоит в умении представить себе людей, вещи и явления такими, каковы они в действительности, даже и тогда, когда ты их никогда не видел. Пользуясь всем своим жизненным опытом и теоретической установкой, соединить отдельные, мелкие сведения, схваченные на лету, проработать их, связать воедино, дополнить по каким-то неформулированным законам соответствия и воссоздать таким путем во всей ее конкретности определенную область человеческой жизни -- вот воображение, которое необходимо законодателю, администратору, вождю, особенно же в эпоху революции. Сила Ленина была в огромной мере силой реалистического воображения.

Целеустремленность Ленина всегда была конкретной, иначе, впрочем, она бы не была настоящей целеустремленностью. Ленин, кажется, в первый раз в "Искре" высказал ту мысль, что в сложной цепи политического действия нужно уметь выделить центральное для данного момента звено, чтобы, ухватившись за него, дать направление всей цепи. Позже Ленин не раз возвращался к этой мысли, а нередко и к самому образу цепи и кольца. Этот метод из сферы сознания как бы перешел у него в подсознательное, став в конце концов второй природой его. В наиболее критические моменты, когда дело шло об ответственном или рискованном тактическом повороте, Ленин как бы отметал все остальное, второстепенное или терпящее отлагательство. Это никак не надо понимать в том смысле, что он брал центральную задачу лишь в ее основных чертах, игнорируя детали. Наоборот, ту задачу, какую он считал неотложной, он ставил во всей конкретности, подходя к ней со всех сторон, продумывая детали, иногда совершенно третьестепенные, ища повода для новых и новых толчков и импульсов, напоминая, вызывая, подчеркивая, проверяя, нажимая. Но все это было подчинено тому "звену", которое он считал решающим для данного момента. Он отметал при этом не только все, что прямо или косвенно противоречило центральной задаче, но и то, что просто могло рассеять внимание, ослабить напряжение. В наиболее острые моменты он как бы становился глухим и слепым по отношению ко всему, что выходило за пределы поглощавшего его интереса. Одна уже постановка других, нейтральных, так сказать, вопросов ощущалась им как опасность, от которой он инстинктивно отталкивался. После того как критический этап благополучно оставался позади, Ленин не раз по тому или по другому поводу восклицал: "А ведь мы и забыли совсем сделать то-то", "А ведь мы тут дали маху, занятые главным вопросом"... И когда ему иной раз возражали: "Да ведь этот же вопрос ставился и это самое предложение вносилось, только вы тогда и слушать не хотели". -- "Да неужели? -- отвечал он, -- что-то я не помню", -- раздражаясь при этом лукавым, немножко "виноватым" смехом и делая особый, свойственный ему жест рукою сверху вниз, который должен был означать: всех дел, видно, никак не переделаешь. Этот его "недочет" был только оборотной стороной его способности к величайшей внутренней мобилизации всех сил, а именно эта способность сделала его величайшим революционером в истории.

В ленинских тезисах о мире, написанных в начале января 1918 года, говорится о необходимости "для успеха социализма в России, известного промежутка времени, не менее нескольких месяцев". Сейчас эти слова кажутся совершенно непонятными: не описка ли, не идет ли тут речь о нескольких годах или о нескольких десятилетиях? Но нет, это не описка. Можно, вероятно, найти ряд других заявлений Ленина в таком же роде. Я очень хорошо помню, как в первый период, в Смольном, Ленин на заседаниях Совнаркома неизменно повторял, что через полгода у нас будет социализм и мы станем самым могущественным государством. Левые эсеры, и не только они одни, поднимали вопросительно и недоумевающе головы, переглядывались, но молчали. Это была система внушения. Ленин приучал всех брать отныне все вопросы в рамках социалистического строительства, и не в перспективе "конечной цели", а в перспективе сегодняшнего и

завтрашнего дня. И он прибежал тут при этом крутом переходе к столь свойственному ему методу перегибания палки: вчера говорили, что социализм есть "конечная цель", а сегодня должны мыслить, говорить и действовать так, чтобы обеспечить господство социализма через несколько месяцев. Значит, это только педагогический прием? Нет, не только. Надо к педагогической настойчивости присоединить еще одно: могучий идеализм Ленина, его напряженную волю, которая на резком повороте двух эпох сжимала этапы и сокращала сроки. Он *верил в то, что говорил*.

И этот фантастический полугодовой срок для социализма представляет собой такую же функцию ленинского духа, как и его реалистический подход к каждой задаче сегодняшнего дня. Глубокое и неукротимое убеждение в могущественных возможностях человеческого развития, заплатить за которое можно и должно любой ценой жертв и страданий, составляло всегда главную пружину ленинского духа.

В труднейших условиях -- промежду повседневных изнурительных работ, среди затруднений продовольственного и всякого иного характера, в кольце гражданской войны -- Ленин с величайшей тщательностью работал над советской Конституцией, скрупулезно уравнивая в ней второстепенные и третьестепенные практические потребности государственного аппарата с принципиальными задачами пролетарской диктатуры в крестьянской стране.

Конституционная комиссия решила почему-то переработать ленинскую Декларацию прав трудящихся, "согласовав" ее с текстом Конституции. В приезд свой в Москву с фронта я получил от комиссии в числе других материалов и проект переработанной Декларации, или, по крайней мере, части ее. С материалами я знакомился в кабинете Ленина, в присутствии его самого и Свердлова. Шла подготовка к V съезду Советов.

-- А к чему, собственно, переделывать Декларацию? -- спросил я Свердлова, который руководил работами Конституционной комиссии.

Владимир Ильич с интересом приподнял голову.

-- Да вот комиссия нашла, что в Декларации есть несогласованности с Конституцией и неточные формулировки,-- ответил Яков Михайлович.

-- По-моему, это зря,-- ответил я.-- Декларация была уже принята, стала историческим документом, какой же смысл ее перерабатывать?

-- Совершенно верно,-- подхватил Владимир Ильич,-- и, по моему, это дело затеяно было напрасно. Пусть уж сей младенец, непричесанный и вихрастый, так и живет: каков он ни на есть, он все-таки -- порождение революции... Вряд ли он станет лучше, если его послать к парикмахеру.

Свердлов попытался было "по обязанности" защищать решение своей комиссии, но скоро согласился с нами. Я понял, что Владимир Ильич, которому приходилось не раз выступать против тех или других предложений Конституционной комиссии, не хотел поднимать борьбу по поводу редактирования Декларации прав, авторство которой принадлежало ему самому. Он, однако, очень обрадовался поддержке "третьего лица", неожиданно явившейся в последний момент. Мы сговорились втроем не менять Декларации, и превосходный вихрастый младенец был избавлен от парикмахерской...

Изучение советского законодательства в его развитии -- с выделением в нем принципиальных моментов и поворотных вех, в связи с ходом самой революции и классовых в ней отношений -- является задачей огромной важности, ибо для пролетариата других стран выводы ее могут и должны получить первостепенное практическое значение.

Сборник советских декретов представляет в известном смысле часть, и отнюдь не маловажную. Полного собрания сочинений Владимира Ильича Ленина.

VI. ЧЕХОСЛОВАКИ И ЛЕВЫЕ ЭСЕРЫ

Весна 1918 года была очень тяжелая. Momentами было такое чувство, что все ползет, рассыпается, не за что ухватиться, не на что опереться. С одной стороны, было совершенно очевидно, что страна загнила бы надолго, если бы не Октябрьский переворот. Но с другой стороны, весной 1918 года невольно вставал вопрос: хватит ли у истощенной, разоренной, отчаявшейся страны жизненных соков для поддержания нового режима? Продовольствия не было. Армии не было. Государственный аппарат еле складывался. Всюду гноились заговоры. Чехословацкий корпус держал себя на нашей территории как самостоятельная держава. Мы ничего, или почти ничего, не могли ему противопоставить.

Однажды, в очень тяжелые часы 1918 года Владимир Ильич мне рассказывал:

-- Сегодня у меня была делегация рабочих. И вот один из них на мои слова [К сожалению, я никак не могу вспомнить вопроса, по поводу которого явилась делегация.-- *Прим. авт.*] отвечает: видно и вы, товарищ Ленин, берете сторону капиталистов. Знаете, это в первый раз я услышал такие слова. Я, сознаюсь, даже растерялся, не зная, что ответить. Если это не злостный тип, не меньшевик, то это -- тревожный симптом.

Передавая этот эпизод, Ленин казался мне более огорченным и встревоженным, чем в тех случаях, когда приходили, позже, с фронтов черные вести о падении Казани или о непосредственной угрозе Петербургу. И это понятно: Казань и даже Петербург можно было потерять и вернуть, а доверие рабочих есть основной капитал партии.

-- У меня такое впечатление,-- сказал я в те дни Владимиру Ильичу,-- что страна после перенесенных ею тягчайших болезней нуждается сейчас в усиленном питании, спокойствии, уходе, чтобы выжить и оправиться; доконать ее можно сейчас небольшим толчком.

-- Такое же впечатление и у меня,-- ответил Владимир Ильич.-- Ужасающее худосочие! Сейчас опасен каждый лишний толчок.

Между тем история с чехословаками грозила сыграть роль такого рокового толчка. Чехословацкий корпус врезался в рыхлое тело юго-восточной России, не встречая противодействия и обрастая эсерами и другими деятелями еще более белых мастей. Хотя у власти везде уже стояли большевики, но рыхлость провинции была еще очень велика. И немудрено. По-настоящему Октябрьская революция была проделана только в Петрограде и в Москве. В большинстве провинциальных городов Октябрьская революция, как и Февральская, совершалась по телеграфу. Одни приходили, другие уходили потому, что это уже произошло в столице. Рыхлость общественной среды, отсутствие сопротивления вчерашних властителей имели своим последствием рыхлость и на стороне революции. Появление на сцене чехословацких частей изменило обстановку -- сперва против нас, но в конечном счете в нашу пользу. Белые получили военный стержень для кристаллизации. В

ответ началась настоящая революционная кристаллизация красных. Можно сказать, что только с появлением чехословаков Поволжье совершило свою Октябрьскую революцию. Однако это произошло не сразу.

3 июля Владимир Ильич позвонил по телефону ко мне в Военный комиссариат.

-- Знаете, что случилось? --спросил он тем глуховатым голосом, который означал волнение.

-- Нет, а что?

-- Левые эсеры бросили бомбу в Мирбаха; говорят, тяжело ранен. Приезжайте в Кремль, надо посоветоваться.

Через несколько минут я был в кабинете Ленина. Он изложил мне фактическую сторону, каждый раз справляясь по телефону о новых подробностях.

-- Дела! -- сказал я, переваривая не совсем обычные новости.-- На монотонность жизни мы пожаловаться никак не можем.

-- Д-да,-- ответил Ленин с тревожным смехом.-- Вот оно -- очередное чудовищное колебнутие мелкого буржуа...-- Он так иронически и сказал: *колебнутие*.-- Это то самое состояние, о котором Энгельс выразился: "der rabiät gewordene Kleinbürger" (закусивший удила мелкий буржуа).

Тут же спешные разговоры по телефону -- короткие вопросы и ответы -- с Наркоминделом, с ВЧК и с другими учреждениями. Мысль Ленина, как всегда в критические моменты, работала одновременно в двух плоскостях: марксист обогащал свой исторический опыт, с интересом оценивая новый выверт -- "колебнутие" -- мещанского радикализма; в то же время вождь революции неумоимо натягивал нити информации и намечал практические шаги. Шли сведения о восстании в войсках ВЧК.

-- Как бы, однако, левые эсеры не оказались той вишневой косточкой, о которую нам суждено споткнуться...

-- Я как раз об этом думал,--ответил Ленин,--ведь в том и состоит судьба колебнувшегося мелкого буржуа, чтобы послужить вишневой косточкой для нужд белогвардейца... Сейчас надо во что бы то ни стало повлиять на характер немецкого донесения в Берлин. Повод для военного вмешательства предостаточный, особенно если принять во внимание, что Мирбах, вероятно, все время доносил, что мы слабы и что не хватает лишь толчка...

Скоро прибыл Свердлов, такой же, как всегда.

-- Ну что,-- сказал он мне, здороваясь с усмешкой,-- придется нам, видно, снова от Совнаркома перейти к ревкому.

Ленин тем временем продолжал собирать справки. Не помню, в этот ли момент или позже получилось сообщение, что Мирбах скончался. Нужно было ехать в посольство выражать "соболезнование". Решено было, что поедут Ленин, Свердлов и, кажется, Чичерин. Возник вопрос обо мне. После летучего обмена мнениями меня освободили.

-- Как еще там скажешь,-- говорил Владимир Ильич, покачивая головой.-- Я уж с Радеком об этом сговаривался. Хотел сказать "Mitleid", а надо сказать "Beileid" [сочувствие, соболезнование (нем.)--*Ред.*].

Он чуть-чуть засмеялся, вполтона, оделся и твердо сказал Свердлову: "Идем". Лицо его изменилось, стало каменисто-серым. Недешево Ильичу давалась эта поездка в гогенцоллернское посольство с выражением соболезнования по поводу гибели графа Мирбаха. В смысле внутренних переживаний это был, вероятно, один из самых тяжелых моментов его жизни.

В такие дни познаются люди. Свердлов был поистине несравненен: уверенный, мужественный, твердый, находчивый -- лучший тип большевика. Ленин вполне узнал и оценил Свердлова именно в эти тяжкие месяцы. Сколько раз, бывало, Владимир Ильич звонит Свердлову, чтоб предложить принять ту или другую спешную меру и в большинстве случаев получает ответ: "Уже!" Это значило, что мера уже принята. Мы часто шутили на эту тему, говоря: "А у Свердлова, наверно, *уже!*"

-- А ведь мы были вначале против его введения в Центральный Комитет,-- рассказывал как-то Ленин,-- до какой степени недооценивали человека! На этот счет были изрядные споры, но снизу нас на съезде поправили и оказались целиком правы [Кстати, Свердлова почему-то неизменно называют *первым* председателем пооктябрьского ВЦИК. Это неверно. Первым председателем был, хотя и недолго, тов. Каменев. Свердлов заменил его по инициативе Ленина, в эпоху обострения внутривластной борьбы, связанной с попытками достигнуть соглашения с социалистическими партиями. В примечаниях к 14-му тому Сочинений Ленина говорится, будто замена тов. Каменева Свердловым вызвана была отбытием первого на переговоры в Брест-Литовск. Это объяснение неправильно. Переизбрание вызвано было, как уже сказано, обострением внутривластной борьбы. Я помню это тем тверже, что мне, по поручению ЦК, пришлось вносить во фракцию ВЦИК предложение об избрании Свердлова председателем.-- *Прим. авт.*]...

Левозероковский мятеж лишил нас политического попутчика и союзника, но в последнем счете не ослабил, а укрепил нас. Партия наша сгрудилась плотнее. В учреждениях, в армии поднялось значение коммунистических ячеек. Линия правительства стала тверже.

В том же направлении влияло, несомненно, и чехословацкое восстание, которое выбило партию из того угнетенного состояния, в котором она находилась, несомненно, со времени Брест-Литовского мира. Начался период партийных мобилизаций на Восточный фронт. Первую группу, в состав которой входили еще левые социалисты-революционеры, мы отправляли с Владимиром Ильичом совместно. Тут намечалась, еще в довольно смутном виде, организация будущих политотделов. Однако сведения с Волги продолжали поступать неблагоприятные. Измена Муравьева и восстание левых эсеров внесли новое временное замешательство на Восточном фронте. Опасность сразу обострилась. Вот тут и начался радикальный перелом.

-- Надо мобилизовать всех и все и двинуть на фронт,-- говорил Ленин.-- Надо снять из завесы все сколько-нибудь боеспособные части и перебросить на Волгу.

Напоминаем, что "завесой" назывался тонкий кордон войск, выставленных на западе, против района немецкой оккупации.

-- А немцы? --отвечали Ленину.

-- Немцы не двинутся,-- им не до того, да они и сами заинтересованы в том, чтобы мы справились с чехословаками.

Этот план был принят, и он доставил сырой материал для будущей 5-й армии. Тогда же решена была моя поездка на Волгу. Я занялся формированием поезда, что в те времена было непросто. Владимир Ильич и тут входил во все, писал мне записки, телефонировал без конца.

-- Есть ли у вас сильный автомобиль? Возьмите из кремлевского гаража.

И еще через полчаса:

-- А берете ли с собой аэроплан? Нужно бы взять на всякий случай.

-- Аэропланы будут при армии,-- отвечал я,-- и, если понадобится, я воспользуюсь. Еще через полчаса:

-- А я все-таки думаю, что вам нужно бы иметь аэроплан при поезде, мало ли что может случиться.

И т. д. и пр.

Наспех сколоченные полки и отряды, преимущественно из разложившихся солдат старой армии, как известно, весьма плачевно рассыпались при первом столкновении с чехословаками.

-- Чтобы преодолеть эту гибельную неустойчивость, нам необходимы крепкие заградительные отряды из коммунистов и вообще боевиков,-- говорил я Ленину перед отъездом на восток.-- Надо *заставить* сражаться. Если ждать, пока мужик расчухается, пожалуй, поздно будет.

-- Конечно, это правильно,-- отвечал он,-- только опасаясь, что и заградительные отряды не проявят должной твердости. Добёр русский человек, на решительные меры революционного террора его не хватает. Но попытаться необходимо.

Весть о покушении на Ленина и об убийстве Урицкого застигла меня в Свияжске. В эти трагические дни революция переживала внутренний перелом. Ее "доброта" отходила от нее. Партийный булат получал свой окончательный закал. Возрастала решимость, а где нужно -- и беспощадность. На фронте политические отделы рука об руку с заградительными отрядами и трибуналами вправляли костяк в рыхлое тело молодой армии. Перемена не замедлила сказаться. Мы вернули Казань и Симбирск 7. В Казани я получил от выздоравливавшего после покушения Ленина телеграмму по поводу первых побед на Волге.

Побывав вскоре после того в Москве, я вместе со Свердловым проехал в Горки к Владимиру Ильичу, который быстро поправлялся, но еще не возвращался в Москву к работе. Мы застали его в прекрасном настроении. Он подробно расспрашивал про организацию армии, ее настроения, роль коммунистов, рост дисциплины и весело повторял: "Вот это хорошо, вот это отлично. Укрепление армии немедленно же скажется на всей стране -- ростом дисциплины, ростом ответственности"... С осенних месяцев действительно произошла большая перемена. Того похожего на бледную немочь состояния, которое определилось в весенние месяцы, теперь уже не чувствовалось. Что-то

сдвинулось, что-то окрепло, и замечательно, что на этот раз революцию спасла не новая передышка, а, наоборот, новая острая опасность, которая вскрыла в пролетариате подспудные источники революционной энергии. Когда мы сидели со Свердловым в автомобиль, Ленин, веселый и жизнерадостный, стоял на балконе. Таким веселым я его помню еще только 25 октября, когда он узнал в Смольном о первых военных успехах восстания.

Левых эсеров мы политически ликвидировали. Волгу очищали. Ленин выздоравливал после ран. Революция крепла и мужала.

VII. ЛЕНИН НА ТРИБУНЕ

После Октября фотографии снимали Ленина не раз, точно так же и кинематографчики. Голос его запечатлен на пластинках фонографа. Речи застенографированы и напечатаны. Таким образом, все элементы Владимира Ильича налицо. Но только элементы. А живая личность -- в их неповторном и всегда динамическом сочетании.

Когда я мысленно пытаюсь свежим глазом и свежим ухом -- как бы в первый раз -- увидеть и услышать Ленина на трибуне, я вижу крепкую и внутренне эластическую фигуру невысокого роста и слышу ровный, плавный, очень быстрый, чуть картавый, непрерывный, почти без пауз и на первых порах без особой интонации голос.

Первые фразы обычно общи, тон нащупывающий, вся фигура как бы не нашла еще своего равновесия, жест не оформлен, взгляд ушел в себя, в лице скорее угрюмость и как бы даже досада -- мысль ищет подхода к аудитории. Этот вступительный период длится то больше, то меньше -- смотря по аудитории, по теме, по настроению оратора. Но вот он попал на зарубку. Тема начинает вырисовываться. Оратор наклоняет верхнюю часть туловища вперед, заложив большие пальцы рук за вырезы жилета. И от этого двойного движения сразу выступают вперед голова и руки. Голова сама по себе не кажется большой на этом невысоком, но крепком, ладно сколоченном, ритмическом теле. Но огромными кажутся на голове лоб и голые выпуклины черепа. Руки очень подвижны, однако без суетливости или нервозности. Кисть широкая, короткопалая, "плебейская", крепкая. В ней, в этой кисти, есть те же черты надежности и мужественного добродушия, что и во всей фигуре. Чтоб дать разглядеть это, нужно, однако, оратору осветиться изнутри, разгадав хитрость противника или самому с успехом заманив его в ловушку. Тогда из-под могучего лобно-черепного навеса выступают ленинские глаза, которые чуть-чуть переданы на одной счастливой фотографии 1919 года. Даже безразличный слушатель, поймав впервые этот взор, настораживался и ждал, что будет дальше. Угловатые скулы освещались и смягчались в такие моменты крепко умной снисходительностью, за которой чувствовалось большое знание людей, отношений, обстановки -- до самой что ни на есть глубокой подоплеки. Нижняя часть лица с рыжевато-серовой растительностью как бы оставалась в тени. Голос смягчался, получал большую гибкость и -- моментами -- лукавую вкрадчивость.

Но вот оратор приводит предполагаемое возражение от лица противника или злобную цитату из статьи врага. Прежде чем он успел разобрать враждебную мысль, он дает вам понять, что возражение неосновательно, поверхностно или фальшиво. Он высвобождает пальцы из жилетных вырезов, откидывает корпус слегка назад, отступает мелкими шагами, как бы для того, чтобы освободить себе место для разгона, и -- то иронически, то с видом отчаяния -- пожимает крутыми плечами и разводит руками, выразительно отставив большие пальцы. Осуждение противника, осмеяние или опозорение его -- смотря по противнику и по случаю -- всегда предшествует у него опровержению. Слушатель как

бы предуведомляется заранее, какого рода доказательство ему надо ждать и на какой тон настроить свою мысль. После этого открывается логическое наступление. Левая рука попадает либо снова за жилетный вырез, либо -- чаще -- в карман брюк. Правая следует логике мысли и отмечает ее ритм. В нужные моменты левая приходит на помощь. Оратор устремляется к аудитории, доходит до края эстрады, склоняется вперед и округлыми движениями рук работает над собственным словесным материалом. Это значит, что дело дошло до центральной мысли, до главнейшего пункта всей речи.

Если в аудитории есть противники, навстречу оратору поднимаются время от времени критические или враждебные восклицания. В девяти случаях из десяти они остаются без ответа. Оратор скажет то, что ему нужно, для кого нужно и так, как он считает нужным. Отклоняться в сторону для случайных возражений он не любит. Беглая находчивость несвойственна его сосредоточенности. Только голос его, после враждебных восклицаний, становится жестче, речь компактнее и напористее, мысль острее, жесты резче. Он подхватывает враждебный возглас с места только в том случае, если это отвечает общему ходу его мысли и может помочь ему скорее добраться до нужного вывода. Тут его ответы бывают совершенно неожиданны -- своей убийственной простотой. Он начисто обнажает ситуацию там, где, согласно ожиданиям, он должен был бы маскировать ее. Это испытывали на себе не раз меньшевики в первый период революции, когда обвинения в нарушениях демократии сохраняли еще всю свою свежесть. "Наши газеты закрыты!" -- "Конечно, но, к сожалению, не все еще! Скоро будут закрыты все. (*Бурные аплодисменты.*) Диктатура пролетариата уничтожит в корне эту позорную продажу буржуазного опиума". (*Бурные аплодисменты.*) Оратор выпрямился. Обе руки в карманах. Тут нет и намек на позу, и в голосе нет ораторских модуляций, зато есть во всей фигуре, и в посадке головы, и в сжатых губах, и в скулах, и в чуть-чуть сиплом тембре несокрушимая уверенность в своей правоте и в своей правде. "Если хотите драться, то давайте драться, как следует быть".

Когда оратор бьет не по врагу, а по своим, то это чувствуется и в жесте, и в тоне. Самая неистовая атака сохраняет в таком случае характер "урезонивания". Иногда голос оратора срывается на высокой ноте: это когда он стремительно обличает кого-нибудь из своих, устыжает, доказывает, что оппонент ровнешенько ничего в вопросе не смыслит и в обоснование своих возражений ничего, ну так-таки ничегошеньки не привел. Вот на этих "ровнешенько" и "ничегошеньки" голос иногда доходит до фальцета и срывается, и от этого сердитейшая тирада принимает неожиданно оттенок добродушия.

Оратор продумал заранее свою мысль до конца, до последнего практического вывода, -- мысль, но не изложение, не форму, за исключением разве наиболее сжатых, метких, сочных выражений и словечек, которые входят затем в политическую жизнь партии и страны звонкой монетой обращения. Конструкция фраз обычно громоздкая, одно предложение напластовывается на другое или, наоборот, забирается внутрь его. Для стенографов такая конструкция -- тяжелое испытание, а вслед за ними -- и для редакторов. Но через эти громоздкие фразы напряженная и властная мысль прокладывает себе крепкую, надежную дорогу.

Верно ли, однако, что это говорит глубочайше образованный марксист, теоретик-экономист, человек с огромной эрудицией? Ведь вот кажется, по крайней мере моментами, что выступает какой-то необыкновенный самоучка, который дошел до всего этого своим умом, как следует быть, все это обмозговал, по-своему, без научного аппарата, без научной терминологии, и по-своему же все это излагает. Откуда это? Оттуда, что оратор продумал вопрос не только за себя, но и за массу, провел свою мысль

через ее опыт, начисто освобождая изложение от теоретических лесов, которыми сам пользовался при первом подходе к вопросу.

Иногда, впрочем, оратор слишком стремительно взбегаёт по лестнице своих мыслей, перепрыгивая через две-три ступени сразу: это когда вывод ему слишком ясен и практически слишком неотложен и нужно как можно скорее подвести к нему слушателей. Но вот он почувствовал, что аудитория не поспевает за ним, что связь со слушателями разомкнулась. Тогда он сразу берет себя в руки, спускается одним прыжком вниз и начинает свое восхождение заново, но уже более спокойным и соразмеренным шагом. Самый голос его становится иным, освобождается от излишней напряженности, получает обволакивающую убедительность. Конструкция речи от этого возврата вспять, конечно, страдает. Но разве речь существует для конструкции? Разве в речи ценна какая-либо другая логика, кроме логики, понуждающей к действию?

И когда оратор вторично добирается до вывода, приведя на этот раз к нему своих слушателей, не растеряв в пути никого, в зале физически ощущается та благодарная радость, в которую разрешается удовлетворенное напряжение коллективной мысли. Теперь остается пристукнуть еще раз два-три по выводу, для крепости, дать ему простое, яркое и образное выражение, для памяти, а затем можно позволить и себе и другим передышку, пошутить и посмеяться, чтобы коллективная мысль лучше всосала в себя тем временем новое завоевание.

Ораторский юмор Ленина так же прост, как и все прочие его приемы, если здесь можно говорить о приемах. Ни самодовлеющего остроумия, ни тем более острословия в речах Ленина нет, а есть шутка, сочная, доступная массе, в подлинном смысле народная. Если в политической обстановке нет ничего слишком тревожного, если аудитория в большинстве своем "своя", то оратор не прочь мимоходом "побалагурить". Аудитория благодарно воспринимает лукаво-простецкую прибаутку, добродушно-безжалостную характеристику, чувствуя, что и это не так себе, не для одного лишь красного словца, а все для той же цели.

Когда оратор прибегает к шутке, тогда больше выступает нижняя часть лица, особенно рот, умеющий заразительно смеяться. Черты лба и черепа как бы смягчаются, глаз, переставая сверлить, весело светится, усиливается картавость, напряженность мужественной мысли смягчается жизнерадостностью и человечностью.

В речах Ленина, как и во всей его работе, главной чертой остается целеустремленность. Оратор не речь строит, а ведет к определенному действенному выводу. Он подходит к своим слушателям по-разному: и разъясняет, и убеждает, и срамит, и шутит, и снова убеждает, и снова разъясняет. То, что объединяет его речь, это не формальный план, а ясная, строго для сегодняшнего дня намеченная практическая цель, которая должна занозой войти в сознание аудитории. Ей подчинен и его юмор. Шутка его утилитарна. Яркое словечко имеет свое практическое назначение: подстегнуть одних, попридержать других. Тут и "хвостизм", и "передышка", и "смычка", и "драчка", и "комчванство", и десятки других, не столь увековеченных. Прежде чем добраться до такого словечка, оратор описывает несколько кругов, как бы отыскивая нужную точку. Найдя, наставляет гвоздь и, примерив, как следует быть, глазом, наносит с размаху удар молотком по шляпке -- и раз, и другой, и десятый, -- пока гвоздь не войдет, как следует быть, так что его очень трудно бывает выдернуть, когда уж минует в нем надобность. Тогда Ленину же придется -- с прибауткой -- постукать по этому гвоздю справа и слева, чтобы расшатать его и, выдернув/ бросить в архивную ломь -- к великому огорчению тех, которые к гвоздю привыкли.

Но вот речь клонится к концу. Итоги подведены, выводы закреплены. Оратор имеет вид работника, который умаялся, но дело свое выполнил. По голому черепу, на котором выступили крупинки пота, он проводит время от времени рукой. Голос звучит без напряжения, как догорает костер. Можно кончать. Но не надо ждать того венчающего речь подъемного финала, без которого, казалось бы, нельзя сойти с трибуны. Другим нельзя, а Ленину можно. У него нет ораторского завершения речи: он кончает работу и ставит точку. "Если пойдем, если сделаем, тогда победим наверняка" -- такова нередкая заключительная фраза. Или: "Вот к чему нужно стремиться -- не на словах, а на деле". А иногда и того проще: "Вот все, что я хотел вам сказать", -- и только. И такой конец, полностью отвечающий природе ленинского красноречия и природе самого Ленина, нисколько не расхолаживает аудиторию. Наоборот, как раз после такого "неэффектного", "серого" заключения она как бы заново, одной вспышкой сознания охватывает все, что Ленин дал ей в своей речи, и разражается бурными, благодарными, восторженными аплодисментами.

Но, уже подхватив кое-как свои бумажки, быстро покидает кафедру Ленин, чтобы избежать неизбежного. Голова его слегка втянута в плечи, подбородком вниз, глаза скрылись под брови, усы топорщатся почти сердито на недовольно приподнятой верхней губе. Рокот рукоплесканий растет, кидая волну на волну. Да здра... Ленин... вождь... Ильич... Вот мелькает в свете электрических ламп неповторимое человеческое темя, со всех сторон захлестываемое необузданными волнами. И когда, казалось, вихрь восторга достиг уже высшего неистовства -- вдруг через рев, и гул, и плеск чей-то молодой, напряженный, счастливый и страстный голос, как сирена, прорезывающий бурю: *Да здравствует Ильич!* И откуда-то из самых глубоких и трепетных глубин солидарности, любви, энтузиазма поднимается в ответ уже грозным циклоном общий безраздельный, потрясающий своды вопль-крик: *Да здравствует Ленин!*

VIII. ФИЛИСТЕР О РЕВОЛЮЦИОНЕРЕ

В одном из многих сборников, посвященных Ленину, я наткнулся на статью английского писателя Уэллса под заглавием "Кремлевский мечтатель". Редакция сборника отвечает в примечании, что "даже такие передовые люди, как Уэллс, не поняли смысла происходящей в России пролетарской революции". Казалось бы, это еще недостаточная причина для помещения статьи Уэллса в сборнике, посвященном вождю этой революции. Но не стоит, пожалуй, к этому так уж придирааться: по крайней мере, я лично прочитал несколько страничек Уэллса не без интереса, в чем, однако, автор их, как видно будет из дальнейшего, совершенно не повинен.

Живо представляется тот момент, когда Уэллс посетил Москву. Это была голодная и холодная зима 1920/21 года. В атмосфере -- тревожное предчувствие весенних осложнений. Голодная Москва в сугробах. Хозяйственная политика накануне крутого перелома. Помню очень хорошо то впечатление, которое вынес Владимир Ильич из беседы с Уэллсом: "Ну и мещанин! Ну и филистер!!" -- повторял он, приподымая над столом обе руки, смеясь и вздыхая тем смехом и тем вздохом, какие у него характеризовали некоторый внутренний стыд за другого человека. "Ах, какой филистер", -- повторял он, заново переживая свою беседу. Этот наш разговор происходил перед открытием заседания Политбюро и ограничился, в сущности, повторением только что приведенной краткой характеристики Уэллса. Но и этого было за глаза достаточно. Я, правда, мало читал Уэллса и совсем не встречал его. Но английский салонный социалист, фабианец, беллетрист на фантастические и утопические темы, приехавший взглянуть на коммунистические эксперименты, -- этот образ я себе достаточно ясно представлял. А восклицание Ленина и особенно тон этого восклицания без труда доделали остальное. И

вот теперь статья Уэллса, неисповедимыми путями попавшая в ленинский сборник, не только оживила в моей памяти ленинское восклицание, но и наполнила его живым содержанием. Ибо если Ленина в статье Уэллса о Ленине нет почти и следа, зато сам Уэллс в ней, как на ладони.

Начнем хотя бы со вступительной жалобы Уэллса: ему пришлось, видите ли, долго хлопотать, чтобы добиться свидания с Лениным, что его (Уэллса) "чрезвычайно раздражало". Почему собственно? Разве Ленин вызывал Уэллса? обязывался принять его? или разве у Ленина был такой избыток времени? Наоборот, в те архитяжелые дни каждая минута его времени была заполнена;

ему очень нелегко было выкроить час на прием Уэллса. Понять это нетрудно было бы и иностранцу. Но вся беда в том, что Уэллс, в качестве знатного иностранца и, при всем своем "социализме", консервативнейшего англичанина империалистской складки, насквозь проникнут убеждением, что оказывает, в сущности, своим посещением великую честь этой варварской стране и ее вождю. Вся статья Уэллса, от первой строки до последней, воняет этим немотивированным самомнением.

Характеристика Ленина начинается, как и следовало ждать, с откровения. Ленин, видите ли, "вовсе не писатель". Кому же, в самом деле, решить этот вопрос, как не профессиональному писателю Уэллсу? "Короткие резкие памфлеты, выходящие в Москве за его (Ленина) подписью (!), полные неправильных представлений о психологии западных рабочих... очень мало выражают истинную сущность мышления Ленина". Почтенному джентльмену, конечно, неизвестно, что у Ленина есть ряд капитальнейших работ по аграрному вопросу, теоретической экономии, социологии, философии. Уэллс знает одни "короткие резкие памфлеты", да и то отмечает, что они лишь выходят "за подписью Ленина", то есть намекает на то, что пишут их другие. Истинная же "сущность мышления Ленина" раскрывается не в десятках написанных им томов, а в той часовой беседе, к которой так великодушно снизошел просвещеннейший гость из Великобритании.

От Уэллса можно бы ждать, по крайней мере, интересной зарисовки внешнего облика Ленина, и ради одной хорошо подмеченной черточки мы готовы были бы простить ему все его фабианские [Фабианское общество объединяет в Англии интеллигентов-социалистов и названо так ими самими в честь Фабия Кунктатора (медлителя).--*Прим. авт.*] пошлости. Но в статье нет и этого. "У Ленина приятное смуглое (!) лицо с постоянно меняющимся выражением и живая улыбка"... "Ленин очень мало похож на свои фотографии"... "Он немного жестикулировал во время разговора"... Дальше этих банальностей набившего руку зауряд-репортера капиталистической газеты Уэллс не пошел. Впрочем, он еще открыл, что лоб Ленина напоминает удлинённый и слегка несимметричный череп Артура Бальфура и что Ленин в целом -- "маленький человечек: когда он сидит на краю стула, его ноги едва касаются пола". Что касается черепа Артура Бальфура, то мы ничего об этом почтенном предмете сказать не можем и охотно верим, что он удлинён. Но во всем остальном -- какая неприличная неряшливость. Ленин был рыжеватым блондином,-- назвать его смуглым никак нельзя. Роста он был среднего, может быть, даже слегка ниже среднего; но что он производил впечатление "маленького человечка" и что он еле достигал ногами пола -- это могло показаться только Уэллсу, который приехал с самочувствием цивилизованного Гулливера в страну северных коммунистических лилипутов. Еще Уэллс заметил, что Ленин при паузах в разговоре имеет привычку приподымать пальцем веко. "Может быть, эта привычка,-- догадывается пронизательный писатель,-- происходит от какого-нибудь дефекта зрения". Мы знаем этот жест. Он наблюдался тогда, когда Ленин имел перед собою чужого и чуждого ему

человека и быстро вскидывал на него взор промежду пальцев руки, прислоненной козырьком ко лбу. "Дефект" ленинского зрения состоял в том, что он видел при этом собеседника насквозь, видел его напыщенное самодовольство, его ограниченность, его цивилизованное чванство и его цивилизованное невежество и, вобрав в свое сознание этот образ, долго затем покачивал головой и приговаривал: "Какой филистер! Какой чудовищный мещанин!"

При беседе присутствовал товарищ Ротштейн, и Уэллс делает мимоходом открытие, что присутствие его "характерно для современного положения дел в России": Ротштейн, видите ли, контролирует Ленина от лица Наркоминдела, ввиду чрезмерной искренности Ленина и его мечтательской неосторожности. Что сказать по поводу этого неоценимого наблюдения? Входя в Кремль, Уэллс принес в своем сознании весь мусор международной буржуазной информации и своим пронизательным глазом -- о, разумеется, без всякого "дефекта"! -- открыл в кабинете Ленина то, что выудил заранее из "Times'a" или из другого резервуара благочестивых и прилизанных сплетен.

Но в чем же все-таки состоял разговор? На этот счет мы узнаем от Уэллса довольно-таки безнадежные общие места, которые показывают, как бедно и жалко ленинская мысль преломляется через иные черепа, в симметричности которых мы не видим, впрочем, основания сомневаться.

Уэллс пришел с мыслью, что "ему придется спорить с убежденным доктринером-марксистом, но ничего подобного на самом деле не оказалось". Это нас удивить не может. Мы уже знаем, что "сущность мышления Ленина" раскрылась не в его более чем тридцатилетней политической и писательской деятельности, а в его беседе с английским обывателем. "Мне говорили, -- продолжает Уэллс, -- что Ленин любит поучать, но со мною он этого не делал". Где же, в самом деле, поучать джентльмена, столь преисполненного высокой самооценки? Что Ленин любил поучать -- вообще неверно. Верно то, что Ленин умел говорить очень поучительно. Но он это делал только тогда, когда считал, что его собеседник способен чему-либо научиться. В таких случаях он поистине не щадил ни времени, ни усилий. Но насчет великолепного Гулливера, попавшего милостью судьбы в кабинет "маленького человечка", у Ленина должно было уже после 2--3 минут беседы сложиться несокрушимое убеждение, примерно в духе надписи над входом в дантовский ад: "Оставь надежду навсегда".

Разговор зашел о больших городах. Уэллсу в России впервые, как он заявляет, пришла в голову мысль, что внешность города определяется торговлею в магазинах и на рынках. Он поделился этим открытием со своими собеседниками. Ленин "признал", что города при коммунизме значительно уменьшатся в своих размерах, Уэллс "указал" Ленину, что обновление городов потребует гигантской работы и что многие огромные здания Петербурга сохранят лишь значение исторических памятников. Ленин согласился и с этим несравненным общим местом Уэллса. "Мне кажется, -- прибавляет последний, -- ему приятно было говорить с человеком, понимающим те неизбежные последствия коллективизма, которые ускользают от понимания многих из его собственных последователей". Вот вам готовый масштаб для измерения уровня Уэллса! Он считает плодом величайшей своей пронизательности то открытие, что при коммунизме нынешние концентрированные городские нагромождения исчезнут и что многие из нынешних капиталистических архитектурных чудовищ сохранят лишь значение исторических памятников (если не заслужат чести быть разрушенными). Где же, конечно, бедным коммунистам ("утомительным фанатикам классовой борьбы", как их именует Уэллс) додуматься до таких открытий, давно, впрочем, разъясненных в популярном комментарии

к старой программе германской социал-демократии. Мы уж не говорим, что обо всем этом знали утописты-классики.

Теперь вам, надеюсь, понятно, почему Уэллс "вовсе не заметил" во время разговора того ленинского смеха, о котором ему так много говорили: Ленину было не до смеха. Я опасаюсь даже, что челюсти его сводило рефлексом, прямо противоположным смеху. Но здесь Ильичу служила необходимую службу его подвижная и умная рука, которая всегда умела вовремя скрывать от слишком занятого собою собеседника рефлекс неучливой зевоты.

Как мы уже слышали, Ленин Уэллса не поучал -- по причинам, которые мы считаем вполне уважительными. Зато Уэллс тем настойчивее поучал Ленина. Он внушал ему ту совершенно новую мысль, что для успеха социализма "нужно перестроить не одну только материальную сторону жизни, а и психологию всего народа". Он указал Ленину, что "русские по природе своей индивидуалисты и торговцы". Он разъяснял ему, что коммунизм, "чересчур спешит" и разрушает прежде, чем может что-либо выстроить, и прочее в том же духе. "Это привело нас,-- рассказывает Уэллс,-- к основному пункту расхождения между нами, к различию между эволюционным коллективизмом и марксизмом". Под эволюционным коллективизмом надо понимать фабианское варево из либерализма, филантропии, экономного социального законодательства и воскресных размышлений о лучшем будущем. Сам Уэллс существо своего эволюционного коллективизма формулирует так: "Я верю в то, что путем планомерной системы воспитания общества существующий капиталистический строй может цивилизоваться и превратиться в коллективистический". Сам Уэллс не поясняет, кто собственно и над кем будет проводить "планомерную систему воспитания": лорды ли с удлинненными черепами над английским пролетариатом, или же, наоборот, пролетариат пройдет по черепам лордов? О нет, все, что угодно, только не это последнее. Для чего же существуют на свете просвещенные фабианцы, люди мысли, бескорыстного воображения, джентльмены и леди, мистер Уэллс и мистрисс Сноуден, как не для того, чтобы путем планомерного и длительного извержения того, что скрывается под их собственными черепами, цивилизовать капиталистическое общество и превратить его в коллективистическое с такой разумной и счастливой постепенностью, что даже великобританская королевская династия совершенно не заметит этого перехода?

Все это Уэллс излагал Ленину, и все это Ленин выслушивал. "Для меня,-- милостиво замечает Уэллс,-- было прямо отдыхом (!) поговорить с этим необыкновенным маленьким человеком". А для Ленина? -- о, многотерпеливый Ильич! Про себя он, вероятно, произносил некоторые очень выразительные и сочные русские слова. Он не переводил их вслух на английский язык не только потому, что столь далеко не простирался, вероятно, его английский словарь, но и по соображениям вежливости. Ильич был очень вежлив. Но он не мог ограничиться и вежливым молчанием. "Он был принужден,-- рассказывает Уэллс,-- возражать мне, говоря, что современный капитализм неизлечимо жаден и расточителен и что научить его ничему нельзя". Ленин сослался на ряд фактов, заключающихся, между прочим, в новой книге Монеи: капитализм разрушил английские национальные верфи, не позволил разумно эксплуатировать угольные копи и пр. Ильич знал язык фактов и цифр.

"Признаюсь,-- неожиданно заключает господин Уэллс,-- мне было очень трудно с ним спорить". Что это значит? Не начало ли капитуляции эволюционного коллективизма перед логикой марксизма? Нет, нет. "Оставь надежду навсегда". Эта неожиданная на первый взгляд фраза отнюдь не случайна, она входит в систему, она имеет строго выдержанный

фабианский, эволюционный, педагогический характер. Она рассчитана на английских капиталистов, банкиров, лордов и их министров. Уэллс говорит им:

видите, вы поступаете так дурно, так разрушительно, так своекорыстно, что мне в спорах с кремлевским мечтателем трудно бывает защитить принцип моего эволюционного коллективизма. Образумьтесь, совершайте еженедельные фабианские омовения, цивилизуйтесь, шествуйте по пути прогресса. Таким образом, унылое признание Уэллса не есть начало самокритики, а лишь продолжение воспитательной работы над тем самым капиталистическим обществом, которое столь усовершенствованным, морализированным и фабианизированным вышло из империалистской войны и Версальского мира.

Не без покровительственного сочувствия Уэллс замечает о Ленине: "Его вера в свое дело неограниченна". Против этого спорить не приходится. Запас веры в свое дело у Ленина был достаточен. Что верно, то верно. Этот запас веры давал ему, между прочим, терпение беседовать в те глухие месяцы блокады с каждым иностранцем, который способен был служить хотя бы и кривой связью России с Западом. Такова беседа Ленина с Уэллсом. Совсем, совсем иначе говорил он с английскими рабочими, приходившими к нему. С ними у него было живое общение. Он и учился и учил. А с Уэллсом беседа, по существу, имела полувынужденный дипломатический характер. "Наш разговор кончился неопределенно",-- заключает автор. Другими словами, партия между эволюционным коллективизмом и марксизмом закончилась на этот раз вничью. Уэллс уехал в Великобританию, а Ленин остался в Кремле. Уэллс написал для буржуазной публики фатоватую корреспонденцию, а Ленин, покачивая головой, повторял: "Вот мещанин! Ай-я-яй, какой филистер!"

* * *

Пожалуй, могут спросить, почему и зачем, собственно, я остановился теперь, почти четыре года спустя, на столь незначительной статье Уэллса. То обстоятельство, что статья его воспроизведена в одном из сборников, посвященных смерти Ленина, конечно, не основание. Недостаточным оправданием служит и то, что эти строки писались мною в Сухуме, во время лечения. Но у меня есть более серьезные причины. Сейчас ведь в Англии у власти стоит партия Уэллса, руководимая просвещенными представителями эволюционного коллективизма. И мне показалось -- думаю, не вполне безосновательно,-- что посвященные Ленину строки Уэллса, может быть, лучше, чем многое другое, раскрывают нам душу руководящего слоя английской рабочей партии: в конце концов, Уэллс не худший среди них. Как эти люди убийственно отстали, нагруженные тяжелым свинцом буржуазных предрассудков! Их высокомерие -- запоздалый рефлекс великой исторической роли английской буржуазии -- не позволяет им вдуматься, как следует быть, в жизнь других народов, в новые идейные явления, в исторический процесс, который перекачивается через их головы. Ограниченные рутинеры, эмпирики в шорах буржуазного общественного мнения, эти господа развозят по всему миру себя и свои предрассудки и умудряются вокруг себя ничего не замечать, кроме самих себя. Ленин жил во всех странах Европы, овладевал чужими языками, читал, изучал, выслушивал, вникал, сравнивал, обобщал. Став во главе великой революционной страны, он не упускал случая добросовестно и внимательно поучиться, расспросить, узнать. Он не уставал следить за жизнью всего мира. Он свободно читал и говорил по-немецки, французски, английски, читал по-итальянски. В последние годы своей жизни, заваленный работой, он на заседаниях Политбюро потихоньку штудировал чешскую грамматику, чтобы получить непосредственный доступ к рабочему движению Чехословакии; мы его на этом иногда "ловили", и он не без смущения смеялся и оправдывался... А лицом к лицу с ним -- Уэллс, воплощающий ту породу мнимобразованных, ограниченных мещан, которые смотрят,

чтобы не видеть, и считают, что им нечему учиться, ибо они обеспечены своим наследственным запасом предрассудков. А господин Макдональд, представляющий более солидную и мрачную пуританскую разновидность того же типа, успокаивает буржуазное общественное мнение: мы боролись с Москвой и мы победили Москву. Они победили Москву? Вот уж поистине бедные "маленькие человечки", хотя бы и высокого роста! Они и сейчас, после всего, что было, ничего не знают о своем собственном завтрашнем дне. Либеральные и консервативные дельцы без труда помыкают "эволюционными" социалистическими педантами, находящимися у власти, компрометируют их и сознательно готовят их падение, не только министерское, но и политическое. Вместе с тем, однако, они готовят, но уже гораздо менее сознательно, приход к власти английских марксистов. Да, да, марксистов, "утомительных фанатиков классовой борьбы". Ибо и английская социальная революция совершится по законам, установленным Марксом.

Уэллс, со свойственным ему тяжеловатым, как пудинг, остроумием, грозил некогда взять ножницы и остричь Марксу его "доктринерскую" шевелюру и бороду, ангажировать Маркса, респектабилизировать и фабианизировать его. Но из этой затеи ничего не вышло и не выйдет. Маркс так и останется Марксом, как Ленин остался Лениным, после того как Уэллс подвергал его в течение часа мучительному воздействию тупой бритвы. И мы берем на себя смелость предсказать, что не в столь уж отдаленном будущем в Лондоне, например на Трафальгар-сквере, воздвигнуты будут рядом две бронзовые фигуры: Карла Маркса и Владимира Ленина. Английские пролетарии будут говорить своим детям: "Как хорошо, что маленьким человечкам из Labor Partu не удалось ни постричь, ни побрить этих двух гигантов!"

В ожидании этого дня, до которого я постараюсь дожить, я закрываю на мгновение глаза и отчетливо вижу фигуру Ленина на кресле, на том самом, на котором его видел Уэллс, и слышу -- на другой день после свидания с Уэллсом, а может быть и в тот же день-- слова, произносимые с задушевым кряхтением: "Ну и мешанин! Ну и филистер!"

6 апреля 1924 г.
